

ТЕТРАДЬ, НАЧАТАЯ под СТАЛИНГРАДОМ

Д





МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ

Тетрадь, начатая под Сталинградом

РАССКАЗЫ
И
ОЧЕРКИ

МОСКВА
«Детская литература»
1986

Р 2
А 47

Художники
А. Забалуев, М. Забалуев

Алексеев М. Н.

А47 Тетрадь, начатая под Сталинградом: Рассказы и очерки/Рис. А. Забалуева, М. Забалуева. — М.: Дет. лит., 1986. — 192 с., ил.

В пер.: 50 коп.

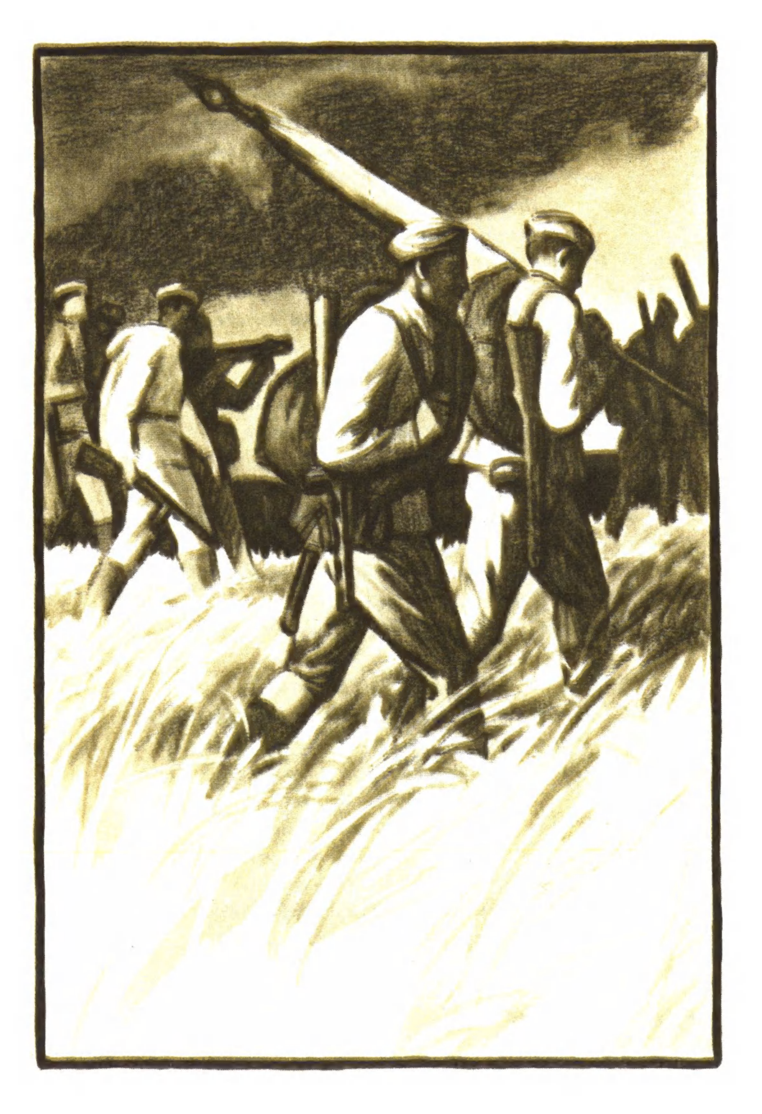
Рассказы и очерки, написанные на основе фронтовых записей. Автор — участник Великой Отечественной войны.

А $\frac{4802010000—271}{М101(03)86}$ 035—85 **Р2**

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986 г.

В основу этой книги положены документы:
заметки из моих фронтовых
и послевоенных тетрадей и блокнотов.
Большая часть их публиковалась ранее,
разбросанная по разным газетам, журналам
и сборникам. Теперь они окажутся
под одной крышей, то есть обложкой.
Должен заметить, что некоторые материалы
написаны на войне в то время,
когда автор не был не только писателем,
но и журналистом, являясь политруком
разных подразделений.
Говорю об этом, не испрашивая
читательского снисхождения,
а лишь для сведения.
Надеюсь, что, может быть,
именно эти, лишенные литературных ухищрений,
строки лучше, вернее донесут
до юного читателя горячее дыхание
грозных лет великой войны,
окончившейся сорок лет
назад нашей Победой.
Надеюсь также и на то,
что книга эта окажется полезной
и в нынешние дни, когда империализм
замышляет новую, еще более страшную войну
и когда советские люди,
в первую очередь наша молодежь,
перед лицом ядерной опасности
должны быть готовы к любым испытаниям,
к защите нашего социалистического
Отечества и мира во всем мире.

М. АЛЕКСЕЕВ





БЫЛЬ О ЗНАМЕНИ

БЫЛЬ О ЗНАМЕНИ

Сейчас Знамя покоится в плотном брезентовом чехле. Только пятиконечная звезда и золотой венчик древка виднеются над головой солдата-часового, торжественно застывшего у полковой святыни. Но вот его выносят на площадь во дворе казармы, оно победно и призывно полощется на ветру, воскрешая в памяти ветеранов минувшие битвы, дни, когда ковалась Великая Победа, сплачивалось и закалялось в огне солдатское братство, добывалась полку слава. И в мужественных лицах бывалых воинов молодой солдат увидит то, о чем не смог бы ему рассказать ни один самый искусный рассказчик. Не нюхавший пороху, он вдруг почувствует запах сгоревшей взрывчатки, не видевший раненых, он увидит их кровь на снегу, услышит мужественный голос, зовущий вперед.



Это гвардейское боевое Знамя. Семьдесят две осколочные пробоины — свидетели его славы, славы полка, славы тех, кто, презирая смерть и опасности,

сражался под этим Знаменем, кто прошел от Волги до Берлина. Под сенью этого Знамени учатся сейчас боевому мастерству советские воины — молодые и бывалые — наследники боевых гвардейских традиций.

Когда, развернутое, оно шелестит на ветру, мнится нам, что оно тихо и торжественно ведет рассказ о себе, о тех богатырях, что сражались с врагом, оберегая его честь, честь полка, честь Отечества. Прислушается молодой солдат, и перед его мысленным взором встанет весь многотрудный путь воинской части, путь, который прошли его старшие товарищи, ныне здравствующие, и те, кого Родина увенчала вечной славой, что живут и всегда будут жить в нашей памяти.

Под Знамя, смирно!..

Слушайте быль о бессмертных подвигах людей, что пронесли Знамя своего полка сквозь битвы и обагрили его своей кровью.

Слушайте быль о Знамени.

1

Глухой сентябрьской ночью 1942 года полк переправился через Волгу и с ходу вступил в бой. И потом уже не прекращал этого боя до самого конца величайшего сражения. Тогда еще не было у полка гвардейского Знамени. Гордое звание «гвардия» пришло в полк одновременно с великой победой у волжской твердыни. Над ровными рядами победителей затрепетало багряное полотнище с портретом Ильича.

Гвардейцы погрузились в эшелоны. Поезд помчал их по бескрайним просторам, усеянным исковерканной немецкой техникой. Высокие дымы первых ожив-

ших заводов тянулись вслед за уходящим на запад эшелоном, как поднятые в прощании руки израненного, но живого города. Гвардия уходила на новые битвы.

...Курская дуга. Здесь проверялась великая клятва воинов, данная ими при получении гвардейского Знамени. Бои не смолкали ни днем, ни ночью. Враг атаковал. Он еще надеялся прорваться, смять нас, устремиться в глубь нашей Родины, к ее сердцу — Москве. Но непоколебимо стояли воины, обливались кровью, а стояли. Легкораненых не было на санитарных пунктах: они оставались в строю. И когда становилось особенно тяжело, когда, казалось, не хватит человеческих сил сдержать вражескую лавину, командир полка приказывал:

— Вынести Знамя!

Знамя появлялось в боевых порядках, там, где особенно жарким был бой, где особенно яростным был неприятельский натиск.

— Ребята!.. Знамя с нами! — стараясь перекричать грохот боя, восклицал знаменосец гвардии младший сержант Кузнецов. Он крепко держал в руках древко, над которым пламенело полотнище.

И чудодейственная сила вливалась в сердца гвардейцев. Они поднимались в атаку, и враг отступал. А Знамя, пропитанное дымом и закопченное, возвращалось на командный пункт полка.

Бои длились много дней. Потом советские войска перешли в решительное наступление. Неудержимым, стремительным потоком рванулись они в глубь Украины — на Харьков, на Полтаву, к Киеву. Днем и ночью без устали двигались колоннами по дорогам и без дорог, мимо опаленных врагом деревень и сел. Знамя было впереди, звало вперед, туда, где ждала освободителей украинская земля.

В те душные августовские ночи Кузнецову хотелось выше поднять знамя, чтобы оно было видно всем: и автоматчику Горюнову, что шагал вслед, и ездовому Архипову, что вез ящики с минами позади, и пешим разведчикам-следопытам, что ушли далеко вперед по вражьим тропам, и раненому Амергалиеву из третьего батальона, отказавшемуся уйти в медсанбат, и саперам, что отправились минировать мост на пути отступающего врага...

2

Немцы оказывали отчаянное сопротивление. Им нужно было во что бы то ни стало удержаться, чтобы успеть организовать свою оборону за Днепром.

Полк вел бои в районе Богодухова. Шел восьмой день нашего наступления. К утру деревня была освобождена, и туда было внесено гвардейское Знамя. Но к полудню немцы, сосредоточив на этом направлении массу танков и авиации, перешли в контратаку. Командный пункт части находился в школе, чудом уцелевшей от огня. Гвардии младший сержант Кузнецов был подле Знамени в одном из классов. Привычным и родным повеяло от пустых, голых стен. Кузнецов огляделся. На полу валялась групповая фотография выпускников седьмого класса. Веселые, улыбающиеся мальчишки и девчонки. Среди них — престарелые и молодые учителя. На углу фотографии отпечатался след кованого немецкого сапога. Он пришелся как раз на круглое личико девочки, вмял русые косички. И почему-то это было больнее всего видеть Кузнецову. Он поднял фотографию, вытер ее платком и положил в карман.

— Сволочи!.. Вот гады!.. — невольно вырвалось у

него, и он принялся проворно и яростно выбрасывать через окно на улицу немецкие противогазы, сваленные в углу, и их старое, лягушачьего цвета обмундирование. Его товарищ, стоявший в другом углу, у Знамени, с удивлением наблюдал, еще не понимая внезапной ярости сержанта. А тот повторял и повторял одни и те же слова, стараясь вложить в них всю накопившуюся злобу:

— Вот гады!..

Кузнецов собирался было очистить все классы от немецкого хлама, когда раздалась команда: «Воздух!» Знаменосцы выскочили на улицу. Когда дым от бомбежки рассеялся, кто-то громко и тревожно крикнул:

— Ранен командир полка!

Он лежал у крыльца школы. Осколок бомбы попал ему в живот. Мертвенная бледность покрывала лицо. Командир тихо, почти беззвучно спросил у поднимавших его офицеров:

— Знамя! Знамя как?..

И потерял сознание.

— Где Знамя?.. Знамя где?..

Это кричал старший лейтенант, первый помощник начальника штаба. Никогда еще не был так взволнован этот мужественный и спокойный человек. Он бегал по дворам, по горящим классам школы, по хатам, но нигде не мог найти ни знаменосцев, ни Знамени. «Погиб, погиб полк... Нет боевого Знамени, позор!..» — эта тревожная весть, самая тревожная, какую только слышали за все эти трудные годы солдаты, молнией неслась по окопам. А враг все лез и лез. Его танки уже подходили к окраине деревни. Может быть, в его руки попало и Знамя?..

Но что это? Перед глазами гвардейцев, словно яркое пламя, вспыхнуло красное полотнище, иссеченное осколками. Кто поднял его, кто принес?



— Жив полк! Жив! Ура, товарищи!..

«Ура» росло и ширилось. Вот оно уже слилось в один протяжный и могучий клич. Батальоны поднялись в атаку. И не было страшней, неудержимей и злей той атаки!

Дрогнул, покатился враг.

Что же случилось со Знаменем? Как все произошло?

3

Когда немцы показались на окраине села, младший сержант Кузнецов был недалеко от боевых порядков части. Знаменосцы укрылись в каком-то старом окопе. Нужно было принимать решение: уносить ли Знамя в тыл или оставаться с ним здесь.

— Бегите и спросите «хозяина», что нам делать! — приказал младший сержант бойцу-связному, который находился вместе с ним в окопе.

Тот побежал. Немцы заметили его. Открыли огонь из пулеметов. Кузнецов видел, как возле ног бегущего солдата вихрились маленькие облачка пыли. «Только бы добежал!.. Только бы не убили!» — сверлила голову единственная мысль. Отходить со Знаменем теперь не было возможности.

Кузнецов поднялся над окопом и что есть силы крикнул:

— Товарищи!.. Ни шагу назад!.. С нами Знамя!..

Но кто же услышит голос человека в таком аду? Он прозвучал так, что Кузнецов сам еле его расслышал. От обиды и беспомощности он искусал себе губы, упал вниз лицом на раскаленную зноем землю. Потом поднялся и крикнул громче:

— Стоять, товарищи!.. Стоять!.. Знамя полка с нами!

И опять его никто не услышал, хотя и отступающих он не видел. Это ободрило знаменосцев. Взяв автоматы и гранаты, они приготовились к бою. Но тут прямым попаданием снаряда знаменосцы были убиты. Израненное полотнище лежало на груди Кузнецова, и, мертвый, он продолжал прижимать его своими руками.

Судьба полка держалась на волоске. Знамя лежало, впитывая в себя кровь погибших знаменосцев. Гитлеровцы яростно рвались вперед. И в эту минуту связной, посланный Кузнецовым, привел помощника начальника штаба. Старший лейтенант, подбежав к Знамени, поднял его над головой, и тогда гвардейцы увидели его.

— Быстро ко мне! — крикнул помначштаба связисту Иванесу, который сидел недалеко в своем окопе. Но тот был контужен, оглушен взрывной волной. Однако по жестам командира он понял, о чем идет речь. Рядом с Кузнецовым, залитая его кровью, лежала и школьная фотография, на углу которой отпечатался след немецкого сапога. С фотографии по-прежнему глядели улыбающиеся, счастливые лица семиклассников. Может быть, многие из тех, кто заснят на этой карточке, так же вот сражаются сейчас с врагом, неся у сердца партийные и комсомольские билеты. Все может быть: ведь снимок, судя по всему, был сделан задолго до войны...

Полк одержал победу в этом ожесточенном бою.

4

Багряный стяг развевался над Вислой. Под этим Знаменем полк участвовал в штурме Берлина и сейчас верным стражем стоит на охране великих завоеваний нашей Родины.

Так вслушайся же в тихий шелест полкового Знамени, молодой солдат! Это тебе рассказывает Знамя о былых походах, о славных делах твоих товарищей, это тебе завещает завоеванную славу. Ты должен хранить память о доблестном воине Кузнецове и многих других героях полка, ты должен сберечь в чистоте их простые и добрые имена, ты должен так же горячо любить свою прекрасную Советскую Отчизну, как любили ее они!

1947 г.

НИКОЛАЙ САВЧЕНКО И ПЕТР ГУНЬКО

> Не колокольчик под дугой —
> Осколков свист над головой.
> Поля широкие, луга —
> Вот это Курская дуга.
>
> *(Из песни)*



3 июля в политотделе дивизии было совещание. Полковник Денисов вел себя вроде бы обычно, слегка журил, менее чем слегка похваливал немногих счастливцев, более всего доставалось инструктору-информатору капитану Новикову, которого, чувствовалось, все-таки любил. Нашу «дивизионку» — не помню, за какую уж там промашку, — обозвал обидными словами: «Агентство «ГАВАС», намекая, видимо, на то, что где-то мы чуток соврали, — явление не такое уж редкое, если учесть, в каких условиях приходилось нашему брату газетчику собирать материал. Под конец совещания приказал всем работникам политотдела отправиться в полки и подразделения. Не уточнил — для чего, но все мы поняли: ожидается что-то очень важное. Голос Денисова стал

строже, фразы короче. Для нас, хорошо знавших своего начальника, это была многозначительная примета. Гораздо позже мы узнали о том, что уже 2 июля из Ставки Верховного Главнокомандования пришла телеграмма, в которой наши войска предупреждались, что ожидается немецкое наступление между 3 и 6 июля. Огромный фронт по Курскому выступу глухо заволновался.

Выйдя из блиндажа начальника политотдела, я решил заглянуть в штаб к командующему артиллерией полковнику Николаю Николаевичу Павлову, под началом которого я прослужил с осени 1941 года. Подвижный, седой, все время встряхивающий контуженным плечом при разговоре, человек до мозга костей военный, Павлов не просто командовал, но делал это с какой-то артистичностью. Был влюблен в артиллерию настолько, что в безумной этой любви скрывалась вполне определенная опасность: Павлов готов был, кажется, забыть про все остальные рода войск. Соответственно воспитывал и своих подчиненных, которых называл не иначе как «орлы». То были и в самом деле орлы. Одного из них мне хотелось увидеть в ночь с 4 на 5 июля, потому-то уже твердо решил отправиться на его батарею.

Голос Павлова, так знакомый мне, на этот раз также показался иным — чуть гуще и отрывистее. До меня долетели последние его слова:

— Контрартподготовку будем проводить так... Для немцев она явится полнейшей неожиданностью. Полнейшей и неприятнейшей. Это раз. Наступательная возможность неприятеля пострадает еще до начала атаки. И наконец, немцы лишатся такого серьезного оружия, как элемент внезапности...

В штабе артиллерии я нашел того, кого искал. Старший лейтенант Николай Савченко, ежели судить

только по его внешности, менее всего был похож на орла. Мал ростом, коренаст, с синими-синими, небесными глазами, всегда широко открытыми и приветливыми. Мы с ним познакомились еще в Донских степях, когда наши подразделения стояли рядом, под станцией Абганерово. Прославилась его батарея тем, что рядовой Иван Дмитриев сбил из обыкновенной полевой пушки калибра 76 мм немецкий самолет в момент его пикирования. Там же, при выходе нашей дивизии из окружения, его батарея уничтожила двенадцать немецких танков. И о Савченко заговорили. Павлов также питал к нему вполне понятную слабость, хотя изо всех сил старался не показывать этого: не в его правилах было выделять кого-то из своих подчиненных.

* * *

По сложнейшему лабиринту траншей и ходов сообщения, который, впрочем, не был для нас сложным, потому как мы давно его изучили настолько, что могли бы пробираться с закрытыми глазами, — мы направились в дивизион Николая Савченко, немало обрадовавшегося моему приходу. Откуда-то из темноты то и дело до нас долетали отдельные фразы из солдатских разговоров:

— Гришин, возьми еще пяток дисков...

— Хлопцы, а Федоренку чуть было наш танк не придавил...

— Откуда их столько взялось — полон лес танков этих...

— Отовсюду ползут...

— Эй ты, Пашка, не спи.

— А я и не сплю. Откуда ты взял?

Ни мы, ни эти переговаривающиеся между со-

бой бойцы не знали в ту минуту, что там, за Северным Донцом, офицеры немецкого штаба знакомились с приказом фюрера: «Германская армия переходит к генеральному наступлению на восточном фронте... Удар, который нанесут немецкие войска, должен иметь решающее значение и послужить поворотным пунктом в ходе войны... Это последнее сражение за победу Германии».

Гитлер оказался прав. То действительно было сражение, после которого у фашистов исчезла последняя надежда на победу Германии.

Впрочем, и этого мы не знали в ту ночь.

День 5 июля я провел на батарее Савченко. Очевидно, с наступлением темноты вернулся в редакцию и там уже сделал довольно подробную запись в свой блокнот. Запись эта впоследствии оказалась для меня очень нужной. Работая над романом «Солдаты», я пользовался ею при описании боя батареи старшего лейтенанта Петра Гунько с немецкими танками. Глава эта есть не что иное, как подробная расшифровка моих записей. Так что Петр Гунько есть не кто иной, как Николай Савченко. Изменил я его фамилию только потому, что по замыслу романа мне нужен был сквозной герой, который оставался бы в строю и прошел через все повествование, то есть до конца войны. Но этого не мог сделать старший лейтенант Николай Савченко — вскоре после сражения на Курской дуге Коля погиб в районе Мерефы, под Харьковом. Я и сейчас хорошо помню, как привезли его на маленькую площадь только что освобожденного нами городка на орудийном лафете к свежей могиле, как потом из всех стволов батареи грянули залпы, как, не стесняясь слез, плакали немногие оставшиеся в живых ветераны батареи и новички, знавшие своего командира не более двух-трех



недель. Мне почему-то кажется, что на той площади должен стоять сейчас памятник моему другу — Николаю Савченко.

А теперь, чтобы не придумывать ничего заново, я выпишу из романа «Солдаты» главу, в которой рассказано о батарее Гунько. Пусть читатель мысленно заменит эту фамилию на Савченко — и это будет правда.

* * *

«Ровно в четыре часа утра началось. После долгой, мучительной и страшной для фронтовиков тишины где-то прошумела «катюша». В ту же секунду из тысячи стволов ударили наши пушки. За Донцом сразу потемнело. Это советские снаряды всех калибров обрушились на огневые позиции вражеских артиллеристов и минометчиков. Снаряды рвались также на переднем крае неприятеля, где скопились для наступления немецкие войска. Потом заговорила немецкая артиллерия, слившись с ревом наших орудий в один оглушающий, потрясающий землю и воздух гул. Казалось, разверзлось небо и обрушило на землю море огня и металла. И земля задрожала, забилась в буйном припадке.

Когда немцы начали свою артподготовку, старший лейтенант Гунько находился в нескольких метрах впереди своих орудий. Не добежав до своего окопа, он был опрокинут страшной силой взрывной волны. Едва он успел подняться, как неподалеку от него второй снаряд с оглушающим звоном встряхнул окутанную дымом и пылью землю. Старший лейтенант упал второй раз и тут же вскочил на ноги, несколько удивленный тем, что остался живым. В воздухе, как огромные шмели, нудно стонали и пели осколки. Добежав до окопа, Гунько упал в него, придавив со-

бой телефониста. Тот сидел, прислонившись к земляной стене и закрыв голову руками, словно желая защитить ее от вражеских осколков. Старший лейтенант схватил трубку и закричал в нее, но тут же сообразил, что провод порван.

— Сорокин!.. Сорокин!.. Сорокин, черт тебя побери!.. — кричал он телефонисту и с досады тряхнул его за плечо. Солдат тихо сполз на дно окопа, все еще закрывая голову руками. Гунько только сейчас заметил между пальцами бойца кровь и понял, что телефонист убит.

Около часа уже длилась немецкая артподготовка. Вскоре Гунько заметил, что немцы под прикрытием своего огня начали переправляться через реку. Гунько открыл огонь и со злорадным торжеством увидел, как первый же снаряд, выпущенный из четвертого орудия, опрокинул резиновую лодку с гитлеровскими солдатами. Уцелевшие барахтались в воде.

— Что, гады! Получили!.. — закричали артиллеристы, но их голосов не было слышно: все тонуло в сплошном реве орудий и разрывов. Батарейцы стреляли прямой наводкой и вскоре потопили еще три лодки противника.

Чуть левее поднялся высокий столб густого дыма и, расплываясь над водой, закрыл реку.

«Будут танки переправляться!» — догадался старший лейтенант. Он перенес огонь и стал стрелять по дымовой завесе. Он не видел ничего, кроме густого белого дыма на реке, и все же стрелял и стрелял наугад, долго и ожесточенно. Через несколько минут показался первый неприятельский танк. Он выполз к нашим окопам и на несколько секунд остановился, как бы присматриваясь. Но эта остановка оказалась для него роковой. В танк впились сразу же три снаряда, выпущенные из орудий старшего лейтенанта

Гунько. Неприятельский обстрел не ослабевал. Вышло из строя одно орудие, но остальные не были еще повреждены и продолжали стрелять. Возле них суетились артиллеристы. У лафетов быстро росли горки стреляных дымящихся гильз. Лица солдат почернели от пороховой копоти. Появились убитые и тяжелораненые. Многие работали у орудий с наспех перевязанными головами и руками. Они не хотели уходить в санчасть, да в таком аду это было и невозможно.

Тяжелая немецкая артиллерия перенесла огонь на ближние тылы дивизии, и Гунько впервые за два часа артиллерийской дуэли увидел впереди себя клочок неба и в этом клочке много самолетов. На какую-то долю секунды мелькнула радостная мысль: «Наши. Переправу громят!» Самолеты висели над переправой врага непрерывно. Густое аханье бомб докатывалось до батареи. Гунько оглянулся назад — зачем, он и сам не мог бы ответить — и увидел наш штурмовик. Он летел низко, кометой скользил над самыми вершинами деревьев, таща за собой огненно-красный шлейф. «Подбили, гады!» — горько подумал Гунько и как раз в эту минуту услышал близкую ружейно-пулеметную стрельбу. Немецкие пули повизгивали над батареей. Из окопов выскочили в контратаку наши пехотинцы. «Ура-а-а!» — полилось навстречу бежавшим от переправы немцам. Столкнулись. Смешались... На флангах выстрачивали частую дробь «максимы». Стучали бронебойки. По переправе, не переставая, била артиллерия. У первой линии наших окопов уже горело несколько танков с крестами на броне — их подожгли советские артиллеристы, дружно стрелявшие со всех сторон.

Мимо огневых позиций Гунько стали проходить первые группы раненых. Они шли медленно, в порванных и залитых кровью гимнастерках. У многих на

груди белели на потертых колодочках медали и желтели ленточки, свидетельствующие о прежних ранениях. Лица были спокойно-торжественны. Солдаты оживленно разговаривали между собой:

— Не пройдет! Ты видал, сколько один Федотов покосил!.. Как начал, начал!..

— Где пройти!.. Это еще наши танки в дело не вступили. Ждут!.. Я сам вчера видел их в роще. О, брат, сколько их там! Сразу и не пересчитаешь...

— Ну, как там, ребята?.. — нетерпеливо спрашивали артиллеристы, на минуту оторвавшись от орудия.

Отвечали невпопад:

— Все еще лезет...

— Столкнули обратно...

И умолкали.

Измученным людям было не до рассказов, да к тому ж и место для этого было неподходящее. Останови ты их подальше, в тылу, ну, скажем, в Шебекинском урочище, где сравнительно редко ложились немецкие снаряды, — вот там они порасскажут. Быль сдобрят чудеснейшей небылицей, попробуй только разберись, кто из них самый главный герой!..

Один из легкораненых, с виду очень молодой и тщедушный, вдруг объявил:

— Никуда не пойду!.. Увезут еще в госпиталь!.. Черт-те что! — и, высмотрев подходящий окоп впереди батареи, заскочил в него, воинственно щелкнув затвором винтовки.

Из-за Шебекинского леса волна за волной выплывали наши штурмовики и с мощным ревом проносились над рекой. Из-под их крыльев вылетали ракетные снаряды, оставляя позади себя белые дорожки. Начала бить по переправе и наша дальнобойная артиллерия. Обратно самолеты проносились так низко и так стремительно, что у стоявших на земле людей за-

хватывало дух. Навстречу им из-за леса тучей надвигались все новые и новые эскадрильи бомбардировщиков, повыше которых, точно мошкара, вились сотни истребителей. А еще выше шли воздушные бои. Наши самолеты летели и пикировали, не обращая внимания на сплошные облачка разрывов зенитных снарядов. Там, где они бомбили, до самого неба поднималась стена пыли и дыма.

И все же немцам удавалось наводить понтонные мосты, по которым проскакивали их танки.

— Огонь!.. Огонь!.. — не переставая, командовал Гунько.

На батарею, пыля и выбрасывая из выхлопных труб клубы черного ядовитого дыма, двигались пять вражеских танков. Окрашенные в грязно-желтый цвет, они ползли по изрытому полю, приземистые, покачиваясь на брустверах траншей и окопов. Один из них, особенно большой и какой-то квадратный, приостановился, шевельнул непомерно длинным стволом и выстрелил. Снаряд разорвался неподалеку от третьего орудия. Танк двинулся дальше, но тут же качнулся всей своей громадиной, из его кормы хлестнуло пламя. Гунько посмотрел влево: от перелеска мчалось несколько наших танков. Из ствола орудия одной машины еще струился дымок.

— Наши!.. Наши танки! Наши!.. — закричали на батарее. — Милые!

Стремительные красавцы танки, стреляя на ходу, молниеносно прошлись по полю и скрылись в сосновой роще; они заходили во фланг прорвавшейся группировке врага. Теперь, кроме большого танка, горели еще две машины неприятеля. Два уцелевших немецких танка продолжали ползти в сторону батареи. Гунько снова открыл огонь. Один танк резко остановился. Из него красновато-желтым мечом рванулось

пламя. Второй продолжал стрельбу. Раздались стоны раненых. Пехотинец, залегший впереди первого орудия, вставлял обойму за обоймой, расстреливая немецких десантников. Был убит наповал наводчик второго орудия Федя Жаворонков. Он лежал, обняв лафет своей пушки. Батарея, оставшись с двумя орудиями, продолжала сражаться. Один снаряд, выпущенный наводчиком Печкиным, угодил в башню немецкого танка. Танкисты повыскакивали из люков, как сурки из задымленных нор, но были немедленно расстреляны нашими пехотинцами.

«Держатся!.. Молодцы!..» — мелькнуло в голове Гунько.

Тяжелый немецкий снаряд, прилетевший, очевидно, с того берега, разорвался на огневой позиции. Третье орудие и его прислуга взлетели на воздух. Там, где только что стояла пушка, теперь дымилась огромная воронка. Вслед за первым снарядом с того берега прилетел второй, третий... Но они уже взрывались позади батареи. Минут пять перед позицией Гунько было пустынно. Отчетливо слышались гул авиационных моторов и неумолкающая трескотня пулеметов.

Гунько хотел было уже как-то помочь раненым, но со стороны реки снова появились немецкие танки. На этот раз их было восемь.

— Огонь! — самому себе скомандовал Гунько. Он исполнял сейчас обязанности командира и наводчика.

Раздался выстрел, со звоном вылетела стреляная гильза, и возле гусеницы головного танка, ползущего на батарею, взвился сноп огня и черного дыма. Танк вздрогнул и остановился, нелепо уткнувшись тупым носом в воронку от снаряда. Неожиданно рядом с ним выросла фигура пехотинца, он размахнулся и бросил что-то на броню машины. Гунько увидел, как по грязной чешуе танка расползлось пла-

мя. Пехотинец выхватил еще одну бутылку, но тут же упал, сраженный, видимо, пулеметной очередью, выпущенной из другого танка. Гунько продолжал стрелять. Наконец, удачным выстрелом он поджег и второй танк; стальная махина начала бешено метаться по полю, волоча за собой рваные лоскутья огня и дыма.

Увлеченные боем, артиллеристы не слышали, как, сверля воздух, летел из-за реки тяжелый снаряд, отсчитывая последние секунды жизни последнего орудия. Взрыв страшной силы встряхнул воздух. Оглушенный Гунько — во время взрыва он оказался в окопе — очнулся, вскочил на ноги. Посмотрел вперед: на поле догорали немецкие танки. Некоторые из них, уцелевшие от огня нашей артиллерии, продолжали двигаться вперед. И как раз в этот момент Гунько увидел лавину наших машин, с глухим урчанием вырвавшихся из рощи. Многие танки тащили на себе верхушки сосен, которыми, должно быть, были до этого замаскированы. Потрясенный гибелью последней пушки, Гунько даже не смог рассмотреть стремительной, разящей атаки советских танкистов. До него отовсюду доносились стоны раненых, полузасыпанных землей. Гунько вместе с уцелевшим наводчиком Печкиным и пехотинцем подходил к каждому, помогал, как мог, пристально всматривался в лица товарищей. Вот этот, что вцепился в свои пепельные волосы и облизывает окровавленные губы, — командир третьего орудия сержант Яблоков, из Пугачева, вчера еще читал своим солдатам письмо от жены и радовался, что она заочно кончает институт. А вот тот, бездыханный, с красивыми белыми зубами, москвич, замковый первого расчета ефрейтор Рябов — лучший запевала в батарее и мастер делать цветные мундштуки, кажется, единственный сын у матери, — он должен был на днях отправиться в воинское училище.



Рядом с ним, запрокинув назад голову, лежит подносчик красноармеец Ляпин — этот из-под Воронежа, тракторист, неутомимый балагур, мастер на анекдоты, ему постоянно влетало от командиров за озорство, мечтал после войны попасть в институт механизации сельского хозяйства и потом изобрести новый трактор, так как существующие считал несовершенными и неэкономичными. Неподалеку от Ляпина будто заснули в обнимку два молоденьких лейтенанта — командиры взводов, «будущие академики», как называл их Гунько.

Так, вглядываясь в лица убитых и раненых, Гунько вспоминал все, что знал о них, и ему не верилось, что это действительность, а не кошмарный сон. Еще несколько часов назад эти люди, неподвижно лежащие сейчас на земле, были живы и невредимы: писали письма, хлопотали у орудий, поправляли окопы и блиндажи, спорили, мечтали. Это были подчиненные ему бойцы и командиры, он иногда покрикивал на них, иногда хвалил, с ними проводил долгие фронтовые будни; эти люди были для него дороже и ближе, роднее всего на свете. И вот теперь многих из них нет. Никто и никогда больше не услышит их голосов.

Между тем из-за Шебекинского леса все выплывали и выплывали караваны наших штурмовиков.

«Сколько же длится этот бой?» — подумал Гунько, заметив, что солнце клонится уже к реке. И вдруг, осознав обстановку, Гунько торжествующе закричал:

— А ведь немцы-то не прошли! Не прошли! Не прошли!.. — повторял он, неожиданно поняв, какой великий смысл заложен для него и для всей страны в этой короткой фразе: «Не прошли!»

Гунько посмотрел на свою батарею, точнее, на то, что осталось от нее — разбитые орудия, раненых и

мертвых бойцов, — и, обессиленный, опустился на землю, закрыв голову руками.

Его отвлек прибежавший на батарею посыльный от командира дивизии.

— Сведения, что ли, требуют? — устало спросил Гунько.

— Так точно, товарищ старший лейтенант. О боевом и численном...

— По всей форме?

— Так точ... — перехватив иронический взгляд командира батареи, посыльный замялся. — В общем, сводку о потерях майор требует... Начальник-то штаба убитый... Снаряд в блиндаж угодил...

Гунько не удивился печальной новости: многих не стало в этот день.

— Ну что ж, вот гляди... — он обвел глазами место, где еще утром стояла целой и невредимой его батарея. — Орудий ни одного, из людей двое здоровых, десять раненых. Вот еще один пехотинец к нам присоединился. Остальные... убиты. Так и доложи. А писать мне не на чем. Да и писаря вместе с бумагами завалило. — Гунько показал на глубокую воронку, в которой торчмя стояло несколько расщепленных осколками бревен.

— Есть доложить — вся батарея погибши!..

— Как, как ты сказал? — Гунько потемнел.

— Погибла, говорю, товарищ старший лейтенант, батарея-то ваша. Орудий ни одного...

— Это кто же тебе сказал, что она погибла? — резко остановил Гунько посыльного. — Нет, солдат, ты так не докладывай майору... Кто дал тебе право говорить так о моей батарее?.. Она жива и будет еще долго жить и колотить фашистов до полного их издыхания!.. Ведь немцев-то мы остановили!.. Как стемнеет, пускай повозки за ранеными приедут. Не за-

будь сказать об этом майору. А санитаров — сейчас же сюда!.. Ну, ладно, беги!

Утомленный день медленно-медленно подходил к концу. Из лесу тянулись длинные вереницы санитарных повозок. Им навстречу шли легкораненые, некоторые из них несли перед собой, как хлеб-соль на рушниках, белые перебинтованные руки. Дымили походные кухни. Из артиллерийских мастерских, расположенных в лесу, грузовики тащили отремонтированные орудия. Пылили танки, направляясь туда, где бой еще не утихал и где противнику удалось вбить клин в нашу оборону. Живыми зелеными цепочками текло пополнение, тускло отсвечивали каски. По-прежнему над Донцом висели наши штурмовики. Высоко, невидимые глазом, шныряли истребители — там, не прекращаясь, шел воздушный бой. Направлялся на передовую новый состав, еще не вступавший в дело. Вслед за орудиями, подпрыгивая на неровностях, громыхало несколько походных кухонь.

Ехала кухня с полным котлом горохового супа и на батарею Гунько».

* * *

Поздно вечером вернулся я в редакцию и тут же принялся записывать в блокнот все, что пережил за минувший день, за один этот страшный и памятный день. Никто из товарищей не мешал мне, не донимал расспросами. И только когда я закончил, подошел Андрей Дубицкий:

— Ну, как, ваше величество, жарко было?

Слова были те же, что всегда, но в них уже не было иронического оттенка. Да и голос секретаря был необычно мягким. И я ответил:

— Жарко.

— Да и к нам сюда долетали снарядики. Вон,

видишь, — и Дубицкий показал на свежую воронку неподалеку от редакторской землянки. По тому, как он сказал это, я понял: завидует мне Андрюха. Помолчав, он проронил со вздохом:

— А Юрки все нету.

Незадолго до рассвета Андрей и сам отправился на передовую, а я стал писать статью для «Советского богатыря».

Товарищи из редакции окружили меня особым вниманием. Редактор Шуренков пошел в АХЧ и с великим трудом выпросил у капитана Докторовича для меня новое обмундирование. Шофер Лавр Еремин подарил совершенно великолепные сапоги, сшитые из плащ-палатки, похоже, для себя, — сапоги эти, как известно, были особым шиком у фронтовиков. Сержант Макогон мужественно сохранил свои сто граммов и торжественно перелил в мою флягу. Наборщик Миша Михайлов подобрал для моей корреспонденции особенно дорогой шрифт, которым мы пользовались редко: берегли.

Закончив работу, я решил сходить в политотдел дивизии.

Перво-наперво заглянул в блиндаж к помощнику по комсомолу Саше Крупецкову — моему дружку еще со сталинградских времен, парню на редкость веселому. Когда еще на моей гимнастерке не было решительно никаких наград, Саша привинтил на ней свой собственный орден Красной Звезды и сфотографировал меня с ним.

— Пошлешь карточку невесте, — сказал он.

Я покраснел, но карточку потом все-таки послал. Мне и сейчас стыдно, что предстал перед возлюбленной с чужим орденом. Правда, уже позже я признался ей в этом. Сделать это было нетрудно: к тому времени на моей груди были собственные ордена.

Саша был не один в блиндаже. Рядом с ним сидел фотограф из партучета Валентин Тихвинский. Были они очень мрачными. Перебирали какие-то документы. Поздоровавшись, я присмотрелся к их занятию, показавшемуся мне странным. Перед ними лежали десятки новеньких комсомольских билетов с короткой пометкой: «Убит». Многие из этих документов были выданы их недолгим владельцам только вчера, накануне сражения, — и почти на всех была Сашина подпись. Фотографии же были работы Вали Тихвинского.

Я присел и молча стал помогать им в горестной работе.

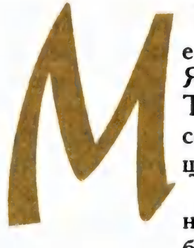
А сейчас, спустя двадцать лет, мне очень хотелось бы побывать в тех местах, где пролилась кровь этих безвестных моих ровесников. А еще хотелось бы, чтоб о них помнили всегда мы, наши дети, дети наших детей.

Хотелось еще, чтобы эти строчки как-нибудь попали на глаза родным Николая Савченко и всем, кто хорошо знал его до войны.

1963 г.

ПО ВРАЖЬИМ ТРОПАМ

Рассказ разведчика старшего сержанта
В. Мирошникова



Медленно угасает апрельский день. Я и мой старый приятель Володя Трипецкий лежим на мягкой весенней траве, смотрим в темнеющее небо и мечтаем.

Незаметно для себя я начинаю рассказывать свою боевую биографию, хотя моему приятелю она давным-давно известна. Один за другим к нам подходят разведчики. Нескладен и нестроен мой рассказ. Но меня слушают с вниманием.

МОИ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Я уезжал на фронт. Утром выгрузились в Курске. Город пылал после бомбежек. Где-то недалеко, на линии, горел вагон с винтовочными патронами. Оттуда раздавались сухие разрывы и взлетали кверху снопы искр. На меня повеяло незнакомым, тревожным запахом войны.

До фронта было еще далеко. К тому времени наши войска, отбив наступление немцев на Курской дуге, сами перешли

в наступление, заняли Орел, Сумы и неудержимо двигались к Днепру.

От Курска до Днепра я прошел пешком и впервые узнал, что такое марш. Просоленная гимнастерка торбой висела на мне и терла спину. За Днепром меня вызвал командир роты старший лейтенант Соколов. Заставил разуться, посмотрел на мои ноги — в порядке.

Потом окинул меня оценивающим взглядом, толкнул упругим кулаком в грудь, улыбнулся и вымолвил торжествующе:

— Подойдет!

Я мог тогда только догадываться, что этим коротким, отрывистым, как выстрел, словом определена моя судьба. Соколов был командиром разведроты. Он провел меня в небольшую хату и, уходя, сказал:

— Вот ваши новые друзья, знакомьтесь!.. Сегодня ночью пойдете с ними в поиск.

Я не знал в то время этого слова — «поиск». Однако смутная догадка и напугала и обрадовала меня.

В комнате было трое солдат. Они чистили автоматы, снаряжали диски, завинчивали запалы в «лимонки», один, самый пожилой, примерял маскировочный халат. Он первым заметил меня. Быстро подошел, окинул всего пронизывающим взглядом и бросил то ли с презрением, то ли с сожалением:

— Новичок?

Потом, постояв с минуту, добавил:

— Ну что ж, будем знакомы — Бобровский... Петр Бобровский, — повторил он и — к друзьям: — Чего ж вы не подходите к новому товарищу?..

Я был уверен, что Бобровский и есть командир отделения. Однако ошибся. Низкорослый, коренастый казах, завинчивавший запал в гранату, тщательно

вытер руки холстинкой, подошел ко мне и произнес с резким акцентом:

— Сержант Догбаев — командир отделения!

А третий отрекомендовался коротко:

— Вяткин!

ГЛУХАЯ НОЧЬ, АВТОМАТ, ГРАНАТА

Через час я уже знал, откуда кто родом.

Приближалась ночь. У нас было все готово к поиску.

Ночь была лунная. Бобровский то и дело посматривал на мигающие звезды и недовольно ворчал:

— Опять светло, хотя бы одно облачко. И лунища — вынесло ее на нашу шею...

Он шел, по-медвежьи переваливаясь с ноги на ногу, и разговаривал сам с собою:

— Глухая, темная ночь, автомат, граната — вот что надо разведчику.

Мы шли молча. Мне вообще не о чем было говорить — новичок. Иди и слушай, что говорят старые разведчики. Я инстинктивно держался поближе к Бобровскому. Этот пожилой, кряжистый сибиряк своей медленной, уверенной походкой, степенным словом с первых минут внушил к себе доверие. Мне казалось, что он никогда не может сделать необдуманного шага. И то, что он все время покрикивал на отчаянного Семена Вяткина и других разведчиков, еще больше поднимало его в моих глазах. Мне было непонятно, почему не он наш командир, а молчаливый и угрюмоватый Догбаев. И я признался в этом шедшему впереди меня Бобровскому. Тот остановился, изумленно вскинул на меня свои большие черные глаза:

— Ты еще ничего не знаешь, Мирошников: Дог-

баев — лучший командир. А я горяч. Погубить могу все дело...

Я не верил Петру. Только спустя много дней убедился, что он говорил правду...

Впереди, в километре от нас, на фоне неба темной громадой маячила высота 244,5. Оттуда то и дело вылетали и рвали ткань ночи пунктиры трассирующих пуль. Это вел наобум огонь немецкий пулеметчик. Вот его-то мы и должны были захватить. Нас было семь человек. Вел группу лейтенант Дешин. Высокий и сутуловатый, он часто останавливался и вновь объяснял задачу. Я и еще два разведчика должны поддерживать огнем группу захвата, в которую входили сам лейтенант, Бобровский и Семен Вяткин.

В полночь прошли передовую линию. Я невольно оглянулся назад. Там, внизу, мчал к морю свои серебряные волны Днепр.

Мы поползли. Я следил за Бобровским и Вяткиным. Они ползли ловко и быстро. Я старался не отставать от них, но удавалось мне это с великим трудом. Неумолимо тяжел был автомат, гранаты терли бока, попадали под живот и мешали ползти. Нестерпимо жег глаза соленый пот. От перенапряжения мелко дрожали мышцы.

С пронзительным свистом рядом с нами взвилась в воздух ярко-белая ракета. На миг стало светло как днем. Мы застыли в неподвижности. Где-то над самым ухом загремел пулемет. Пули по-пчелиному пропели над нами, и вдруг опять все стихло.

Разведчики лежали не шевелясь. Время тянулось мучительно долго. В висках моих буйно клокотала кровь. Не выдержав, я оторвал от горькой травы голову и... не увидел своих товарищей.

Я чуть не крикнул от горя. Собрав все силы, пополз вперед, забыв обо всем на свете. А потом события

стали развертываться с головокружительной быстротой. На мгновение перед моими глазами выросла широченная фигура Петра Бобровского. Взмахнув рукой, он коршуном опустился на что-то, невидимое мне. В ту же секунду раздался короткий крик.

Пока я опомнился, Семен Вяткин и Бобровский уже тащили за руки прямо на меня здоровенного, перепуганного насмерть гитлеровца. Во рту у него торчал кляп.

— Прикрывай нас! — на ходу и, как мне показалось, зло крикнул Бобровский, заметив меня. Я открыл огонь. В это время мимо меня пробежал с немецким пулеметом лейтенант Дешин, а за ним еще несколько разведчиков.

Я остался на враждебном поле. И страшное одиночество черной птицей опустилось на меня...

Опомнившись, немцы открыли бешеный огонь. Я им ответил длинной автоматной очередью. В ту же секунду чья-то тяжелая рука опустилась на мою спину. Холодок пополз по коже. Я рванулся и увидел смуглое, скуластое лицо сержанта Догбаева.

— Мирошников? — проворчал он. — Чего тут лежишь? Сейчас же ползи за мной.

Через полчаса мы подходили к своей хате.

ПОД ПУЩЕВОДИЦЕЙ

В ночь на 6 ноября 1943 года командир бригады вызвал к себе старшего лейтенанта Соколова. Соколов застал его за картой, разложенной на большом крестьянском столе. Голубой извилистой лентой разрезал карту Днепр. Там, где был обозначен Киев, красные стрелы уходили далеко вперед и цепкими клещами захватывали город.

— Вот идите сюда... Видите, Пущеводица. А тут Гатное. Вот Житомирское шоссе. Его мы должны перерезать...

Комбриг оторвался от карты, несколько раз прошел взад-вперед по скрипящим половицам:

— И сделаете это вы с разведчиками.

Днем начался прорыв. Наша бригада наступала правее Киева. Разведчики шли в головном дозоре. Стемнело. Моросил мелкий дождь. Слева, в нескольких километрах позади нас, горел Киев. Огромные зарницы дрожали на темном горизонте.

Из тьмы, весь мокрый и взъерошенный, выскочил Семен Вяткин — он шел впереди.

— Товарищ старший лейтенант, там чей-то обоз! — запыхавшись, доложил он.

— Возьми с собой Мирошникова и выясни, — приказал командир роты.

— За мной! — начальнически позвал меня Семен.

Мы пробирались вдоль кювета. Грязь чмокала под ногами, и мы боялись, что нас могут услышать.

Позади раздались шаги. Вяткин камнем плюхнулся в воду, заполнившую кювет. Мне было страшно, но лезть в воду не хотелось. Семен с силой рванул меня за ногу, и я упал рядом с ним.

Шли двое. Немцы. Мы узнали их по плоским каскам и мундирам. Один, высокий, сказал что-то второму, и они остановились. Я мельком взглянул на Вяткина. Его кошачьи глаза неотступно следили за врагами, а правая, черная от грязи рука сжимала «лимонку». Я хотел выстрелить, но левая рука Семена стальными тисками сжала мою кисть.

Немцы постояли с минуту, которая мне показалась вечностью, и быстро зашагали за своим обозом.



Вздох облегчения вырвался из моей груди. Вяткин встал, укоризненно посмотрел на меня.

— Не годишься ты в разведчики, Володя, терпения у тебя нет... Сам когда-нибудь погибнешь и людей сгубишь.

— Обнаружили вражеский обоз! — доложил он старшему лейтенанту. Тот немедленно разбил нас на две группы. Первая, в которую входил и я, пошла в обход обоза справа, вторая — слева.

Нашей группой командовал Догбаев, а другой — сам Соколов.

Дорога, по которой двигался обоз, вела в село Гатное. Случилось так, что на окраину села мы пришли раньше противника. Я и Петр Бобровский постучали в крайнюю хату. Вышла хозяйка — в ее глазах крайнее изумление. Спросили, есть ли немцы. Ответила, что днем не было.

— Зайдите в хату, трохы обогрейтесь, — предложила хозяйка.

— Нет, мамаша, сейчас нам и без того будет жарко...

Бобровский послал меня предупредить ребят, чтобы приготовились.

Мы засели у крайних домов, по обеим сторонам дороги.

Немцы не подозревали об опасности. Первую повозку мы пропустили без единого выстрела — это еще больше убедило врага, что впереди все в порядке. Но как только подошла вся колонна, мы сразу открыли огонь.

Весь обоз с боеприпасами и продовольствием попал в наши руки. Через час мы были уже в Софиевке, где проходило Житомирское шоссе. Вслед за нами туда вошли наши танки. Задача выполнена!

БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ

Фашисты перешли на нашем участке в сильную контратаку и, пока мы с Вяткиным сладко спали, отбили у наших войск маленькое селеньице Вильшки. И сейчас, когда мы, плотно подзаправившись вкусными галушками доброй Параски, выходили на улицу, на восточной окраине этого села громыхала артиллерия, злыми дворняжками заливались пулеметы.

— Отдохнуть не дадут...

Бобровский сокрушенно вздохнул. Больше обычного переваливаясь с ноги на ногу, он медленно зашагал к хате, в которой располагался командир роты.

Бой длился весь день, а к ночи стих. Нам приказали достать «языка» из только что занятого немцами села Вильшки. Времени на подготовку не давали. Нас спешно посадили на машину и выбросили почти к самому селению. Возглавлял группу младший лейтенант Кочергин. Нашим отделением по-прежнему командовал Догбаев.

Дождь не прекращался третьи сутки. Обмундирование на нас промокло до последней нитки. Грязь пудами налипала на сапоги. Передвигались с большим трудом. Вяткина и меня опять послали вперед. Подошли к крайним домикам. Прислушались. Ни звука. Только на церковной колокольне дважды проплакал сыч да в каком-то хлеву жалобно промычала корова. Дождь сыпал, точно сквозь частое сито, проникал за воротник и холодными червями полз по нашим спинам. Бр-р-р!..

Мы сделали еще несколько шагов, вступили в какой-то темный, глухой переулок, вновь остановились.

— Ты ничего не слышишь? — шепотом спросил я Вяткина.

Тот отрицательно покачал головой.

— А я слышу...

Где-то совсем близко чавкала грязь. Кто-то ходил. Пошли на звук. У низкого сарая увидели темную фигуру человека. Он маятником ходил взад и вперед. За правым плечом человека тонкой палкой торчала винтовка. Часовой!..

— Захватим?..

— Вот опять ты, Володя, торопишься. — Вяткин предостерегающе взял меня за плечо. — Раз часовой, значит, в сарае что-то есть...

«Как я еще глуп», — недовольно думал я, прислушиваясь к гулкому биению собственного сердца. Только сейчас я понял одно из правил разведчика: не спеши, обдумай все как следует.

— Позови сюда остальных, — шепнул Вяткин.

...В голове младшего лейтенанта Кочергина мгновенно созрел план действий. Неуловимо быстро, ловким прыжком, он подскочил к часовому. Рука его описала дугу и опустилась на череп фашиста. Тот вскрикнул и мешком сполз вниз. Словно из-под земли, рядом с упавшим часовым выросла квадратная фигура Догбаева. Он и Кочергин схватили часового и потащили к машине.

Мы с Вяткиным следили за сараем. Услышав крик часового, всполошились в сарае немецкие солдаты. Двое из них пытались выскочить из ворот, но были срезаны моей автоматной очередью. Сарай был без крыши. Воспользовавшись этим, мы бросили туда по три гранаты.

Не помня себя, я вскочил в сарай и туда, откуда неслись крики, пустил длинную очередь. Едва она смолкла, в другом конце помещения раздалась такая же очередь. Это орудовал Вяткин. Крики смолкли.

— Назад! — услышал я его голос и кинулся в едва заметный просвет ворот.

По дороге к машине встретились с Догбаевым и Бобровским. Заслышав стрельбу, они спешили нам на помощь. Через несколько минут мы были уже в своем расположении. Пленного гитлеровца младший лейтенант увел в штаб корпуса.

ПЕТР БОБРОВСКИЙ «ОПЛОШАЛ»

Видно, не суждено было нам отдохнуть в ту промозглую ноябрьскую ночь. Пойманный гитлеровец дал ценные сведения, и нас подняли на ноги, едва мы прилегли: требовалось из того же села привести еще «языка» — для контроля.

Проснувшись, я увидел Петра Бобровского сидящим у маленькой, чуть-чуть помигивающей свечки. Разведчик склонился над чем-то и тихо, невнятно ворчал, ероша волосы:

— Вот ведь... какая притча... растет. Тоже небось человек выйдет...

Весь путь до села он не проронил ни единого слова, несмотря на мои попытки заговорить с ним. Не подозревал, наверное, суровый сибиряк о моей привязанности к нему. На этот раз разведчиков было человек тридцать. Недалеко от села оставленный нами еще раньше разведчик доложил, что в Вильшках спокойно. Вел группу капитан Сперанский. Отделение Догбаева было послано вперед. Мы прошли метров пятьсот и вдруг услышали позади себя шум. Пришлось укрыться в кюветах.

Немецкие связисты вели телефонную линию. Тянули они ее по кювету. Я почувствовал, как на моей голове неприятно зашевелились волосы. Быстрее побежали по кювету вперед, а гитлеровцы, ничего не подозревая, шли вслед за нами. Я слышал их разго-

вор на чужом, непонятном мне языке. Так мы пробрались в самое село. С боков на нас настороженно уставились темные глазницы разбитых окон.

— Огонь открывать по сигналу, — успел предупредить всех Догбаев. Сам он пробрался в пролом хаты и, выставив автомат, стал ждать. Было отчетливо слышно чмоканье тяжелых немецких сапог. Немцев было человек двенадцать. Их согбенные, долговязые фигуры мы уже видели на мутнеющем горизонте. А дальше, вслед за ними, точно тени, перебегали наши остальные разведчики.

Вдруг без всякого предупреждения захлебнулся в злобной скороговорке автомат Бобровского, засевшего у самой дороги. Фашисты шарахнулись в разные стороны. В ту же секунду я услышал, как Догбаев пустил в темноту страшное, несвойственное ему ругательство. Но вслед за этим из черного провала метнулся в сторону врага огненно-красный пунктир трассирующих пуль.

Не выдержав, Бобровский первым кинулся на врагов. За ним из-за плетня выскочил Семен Вяткин, а потом уже все. Помню, не успел я выбежать, как лицом к лицу столкнулся с гитлеровцем. Видимо, я первым пришел в себя. Рванул из рук фашиста автомат и что было силы ударил его кулаком. Он застонал и тут же поднял руки.

Подталкивая пленного прикладом, я повел его в нашу сторону. Вскоре догнал Бобровского и Вяткина. Они вели еще троих гитлеровцев. А позади рвали тишину частые винтовочные выстрелы и автоматные очереди. К ним присоединилась артиллерия. Над нашими головами прошуршало несколько снарядов.

Недалеко от своего села остановились передохнуть. Вынимая мелко дрожавшими пальцами из кармана кисет, Бобровский заговорил:

— Грех попутал... Погорячился... оплошал... не надо было стрелять. Вот как они теперь там? — мотнул большой головой в сторону, откуда все еще неслась частая стрельба и взмывали вверх ярко-белые ракеты.

Я, словно очнувшись, впервые подумал о судьбе разведчиков, оставшихся нас прикрывать. И беспокойство защемило сердце.

ВОСЕМЬ РАЗ ЗА «ЯЗЫКОМ»

Этот «язык» нам достался тяжело. Около двух дней наблюдал я за посадками, выискивая нашу жертву. Рядом с одним высоким деревом то и дело строчил немецкий пулемет. Мне оставалось выяснить, сколько немцев сидит у пулемета. Как это сделать? Терпеливо наблюдаю дальше. Ночь. По телу пробегает дрожь. Жутко одному в моей норе. Вдруг оттуда, где сидит немецкий пулеметчик, взвилась ракета, вторая... Длинная пулеметная строчка прошила темное полотно ночи. Чуть не вскрикнул я от догадки: не может же один человек одновременно стрелять из пулемета и выпускать ракеты, значит, немцев двое!..

Первая попытка взять «языка» окончилась полным провалом. Все дело испортил Гриша. Был у нас такой маленький, шустрый разведчик. Он шел впереди всех, не пригибаясь. Эта лихость окончилась для него гибелью. Сидевший в засаде автоматчик насмерть сразил нашего Гришу. Всю ночь мы старались вытащить его, но не удавалось: стерегли здорово фашисты. И только отчаянный Сенька Вяткин ужом подкрался и утащил его из-под носа гитлеровцев.

Мы несли Гришу на руках, печальные и злые. Хоронили в пасмурный день. Казалось, небо разделяло наше горе, сея на холодную землю мелкий дождь.

На другую ночь пошли вновь, но тоже неудачно. Думалось, что с потерей товарища мы потеряли и свой опыт разведчиков. Неудачей окончились третья, четвертая и... седьмая наши попытки захватить контрольного пленного. Мы тыкались в разные точки неприятельской обороны, но безрезультатно. Стыдно было показываться на глаза начальнику разведки. Командование бригады требовало одного — «языка».

Выручил всех Петр Бобровский. Он предложил сделать повторное нападение на обнаруженных мною пулеметчиков, «поскольку они теперь успокоились». Ветер для нас был встречным. Ночь темная. Все говорило о том, что поиск должен быть удачным.

Взяли по два автоматных диска в запас, по три гранаты. Шли один за другим, неся в сердце затаенное решение: либо умереть, либо взять. Я обернулся и взглянул в лицо шедшего позади меня Вяткина. В серых глазах Сеньки не было обычной улыбки. Он сосредоточен и даже немножко угрюм.

К противнику мы подобрались незамеченными. Охватили его плотным кольцом. Вяткин и Бобровский поползли к фашистским пулеметчикам. Те спокойно сидели в своем окопе. Один все время пытался прикурить и не мог: ветер гасил спичку. Немец вполголоса ругнулся. Он чиркнул вновь, пряча маленькое пламя в пригоршне. В ту же секунду на него обрушился страшный, оглушающий удар. На другого пулеметчика кинулся Бобровский. Ловким и сильным движением правой руки он всунул ему в рот носовой платок. Толкнув прикладом автомата, приказал идти на восток. Фашист, спотыкаясь, потрусил. Второго гитлеровца волокли Вяткин и Кочергин. В левой руке лейтенанта находился захваченный исправный пулемет.

Мы были довольны. Но не знали мы в ту темную, счастливую ночь, какое горе ожидало нас впереди...



ЭХ, ПЕТР, ПЕТР!..

Отбив все атаки немцев, наши войска повели новое наступление на Житомир. Бригада получила задачу прорваться в тыл фашистов и перехватить главную дорогу.

К этой операции готовились несколько дней. Разведрота лунной ночью выступила вперед. Вооружены мы были лучше обычного. У каждого на ремнях висело по пять-шесть автоматных дисков, в сумках — по десятку гранат. Шли, тяжело переставляя ноги. Поскрипывала мерзлая земля.

Следом за нами двигался взвод бронебойщиков.

Я, как всегда, шел рядом с Бобровским. Петр в эту ночь был необыкновенно разговорчив. Кажется, впервые я узнал тогда о его маленькой семье, о его родной далекой таежной деревушке. Он сказал, что думает вступить в партию.

Узким оврагом, поросшим густым колючим кустарником, проникли в тыл к немцам. Вперед выслали группу захвата. Часа через два она возвратилась с пленным. Тот дрожал, заискивающе глядел на разведчиков. Пленный сообщил, что в селе Рачки — штаб немецкой дивизии.

По радио мы связались с командиром бригады, сообщили ему о показаниях немца. Комбриг подтвердил, что показания верны, поскольку другие разведданные говорили о том же. Мы получили приказ — проникнуть в село и произвести разведку.

Первым подошло к селу отделение Догбаева. В густом вишневом саду на окраине села мы остановились, прислушались. Сеня Вяткин задрал кверху голову и, словно принюхиваясь, стал смотреть на вишневые ветки. Я тоже поднял голову, но ничего не увидел.

— Ты чего смотришь? — вполголоса спросил я.

— А вот видишь...

Сенька подпрыгнул, и я увидел в его руках тонкий красный телефонный провод.

— А вот еще... еще один... вот третий, — Вяткин снимал с веток тонкие, скользкие шнуры и ловко перерезал их финкой.

— Ну и нюх у тебя, Семен! — позавидовал Бобровский.

Обнаружили еще несколько проводов. Они пучком сходились к большому окну школы-десятилетки. Из некоторых окон сквозь маскировку проникал свет. Сомнений не было — здесь размещался штаб немецкой дивизии. Подползший к школе Бобровский видел около нее несколько легковых автомашин и мотоциклов. По ступенькам то и дело, щелкая каблуками, вбегали немецкие офицеры. Где-то ворчали бронетранспортеры.

Наметив место сбора, мы разошлись по селу. Часа через два собрались. Позже всех пришли Вяткин и Бобровский. Петр обнаружил в одном переулке около десяти немецких бронетранспортеров. Вскоре по радио полетело наше донесение. Притаившись в саду, мы ждали подхода бригады.

Она подошла сверх ожидания быстро. Об этом сообщил нам прибежавший из роты разведчик. Наши танки полукольцом охватили село и теперь ждали сигнала.

Сигнал был дан двумя красными ракетами. Послышался низкий рев моторов. Ударили бронебойки. Одна за другой вспыхивали немецкие машины. Бобровский хлестал из автомата по выскакивавшим из хат обезумевшим гитлеровцам.

Та-та-та-та, — сорочьей скороговоркой заливался ручной пулемет где-то на южной окраине села. На широкую, освещенную горящим домом улицу вдруг

выскочила «тридцатьчетверка». Танк взревел, круто повернулся на одной гусенице и, содрогнувшись, выстрелил по школе. Из окна школы, лизнув железную крышу, взметнулось яркое пламя. По улицам и переулкам бегали немцы, расстреливаемые невидимыми советскими бойцами.

К утру все было закончено. Вражеский штаб был полностью разгромлен.

...Вышел из засады и Петр Бобровский. Он забрался на подбитый транспортер, по-хозяйски осмотрел его. Поднял длинную пулеметную ленту. А в это время из укрытого в сарае немецкого танка на него наводили пулемет. Сощурившись, фашист нажал на гашетку. Петр не слышал выстрелов. Обожженный короткой пулеметной строчкой, он круто повернулся, как бы предупреждая, взмахнул рукой... Ноги его дрогнули, подкосились. Он упал на землю, разметал руки, неподвижно уставив большие, потухающие черные глаза в равнодушно-холодное декабрьское небо.

Его привезли в центр села на броне танка. Я смотрел на дорогие, изменившиеся черты, и печаль, великая печаль заполнила мое сердце:

— Эх, Петр, Петр!..

Меня душили слезы. Жестокая спазма захлестнула горло. Рядом со мною, сняв шапку, стоял Сеня Вяткин. Его припухлые губы по-детски дрожали.

ГЛУБОКИЙ РЕЙД

На Сандомирском плацдарме в нашей бригаде была создана специальная разведгруппа. В нее входили три танка, два бронетранспортера, три бронемашины и две самоходки. Она предназначалась для глубоких рейдов в тыл противника. Меня назначили командиром бронемашины.

Долго и болезненно переживал я гибель Бобровского. Будто родного брата потерял. Может быть, еще поэтому я сдружился особенно крепко в эти дни с молодым разведчиком Володей Трипецким. Несмотря на молодость, Володя чем-то неуловимо напоминал мне Петра.

Изменился как-то и Сеня Вяткин. Он посерьезнел, замкнулся. В его серых кошачьих глазах реже вспыхивали озорные огоньки.

С 1 января 1945 года наша группа начала подготовку к большому, глубокому рейду. Командир группы гвардии старший лейтенант Кочергин не знал отдыха.

Морозным утром 12 января фронт содрогнулся от сильнейшей артиллерийской подготовки.

К вечеру, когда были прорваны одна за другой три линии немецкой обороны, нас двинули вперед. Вскоре мы обогнали свои передовые части и, выйдя на дорогу, полным ходом пошли на запад. Впереди редкими огоньками замаячил какой-то населенный пункт.

Трое разведчиков — Вася Чумаков, Демьянов и старший сержант Васильев, сойдя с дороги, направились к селу. Командовал ими Чумаков.

— За мной, — тихо сказал он и, пригнувшись, осторожно зашагал вперед, держа наготове автомат. В угловой хате разведчики заметили свет. Демьянов подкрался к окну и увидел фашиста, который торопливо пожирал консервы. Разведчик вернулся, предупредил товарищей и в ту же минуту заметил большую колонну немецких машин и бронетранспортеров.

Колонна двигалась с притушенными фарами по дороге, идущей с юго-востока в село. Возле самого села эта дорога делала крутой поворот. Вот здесь-то и развернул свою группу предупрежденный разведчиками Кочергин.

Наши танки, самоходки, бронемашины и броне-

транспортеры стояли, ощетинившись жерлами орудий и стволами пулеметов. По бокам залегли с автоматами разведчики. Саперы спешно устанавливали мины...

Когда основная масса немецких машин подошла к селу, огненная петля захлестнулась. Фашистов расстреливали без промаха, в упор. Разве только двоим-троим удалось бежать от нас. В наши руки попало много машин, были захвачены пленные. Вася Чумаков с двумя разведчиками повел их в тыл.

Двинулись дальше. По радио Кочергин получил приказ выйти на реку Нида, захватить мост, не дать противнику взорвать его.

Утром возле реки Нида при бомбежке был тяжело ранен в живот Сеня Вяткин.

...Хоронили мы Сеню возле моста. Мимо нас проносились танки, проходила пехота. Могучий поток советских войск двигался на запад, в логово фашистского зверя — в Германию.

Кочергин стоял возле свежей могилы без шапки, и холодный январский ветер яростно трепал его кудри.

1945 г.

СЕМЬЯ ДАВИСКИБОВ

Он был мал ростом и вообще неказист с виду, гвардии рядовой Иван Давискиба, в прошлом колхозник Курской области. По солдатской книжке — русский, а говорок мягкий, с глуховатым «г», не то чтобы совсем уж украинский, но смешанный, переходный от русского к «малороссийскому», тот самый говорок, которым отличаются жители Курской и Белгородской областей да, может, еще донских и кубанских станиц.



В нашей роте Давискиба был пулеметчиком, своего «дегтярева» пронес он от Волги до самой Праги и, когда пришла пора расставаться с оружием, взгрустнул, долго вертел его так и сяк в грубоватых цепких руках, потом тихо молвил:

— Ну уж и потрудились мы с тобою, братику...

И это было очень точно: Давискиба на войне трудился, трудился добросовестно и незаметно. О нем не скажешь: совершил подвиг, и все же он делал то, что полагалось настоящему сол-

дату: безропотно переносил тяготы окопной жизни и уничтожал врагов, бил их до той поры, пока они не были разгромлены и не капитулировали перед ним. А о том, что так оно все и будет, Давискиба знал еще тогда, когда голодный, усталый отступал от Северного Донца сначала к Дону, а потом к Волге. В крохотной деревеньке оставил он жену с детьми, мал мала меньше, но ни единого раза за всю войну не посетовал Иван на свою судьбу, потому как знал, что в его руках находилась большая судьба Родины, вобравшая в себя судьбы миллионов сынов и дочерей.

Видно, неспроста вспомнился мне сейчас маленький солдат с немного странной фамилией Давискиба. Ныне, когда на Отечество наше устремлены взоры людей всего мира, самое время вспомнить окопных солдат, потому что лишь теперь мы сможем полною мерой измерить их подвиг, без которого не было бы ни того миллиарда пудов пшеницы, выросшей на еще недавно глухой и бесплодной целине, ни спутников Земли, соперничающих со звездами, ни множества новых прекрасных городов и селений, — ничего бы этого не было, если бы Иван Давискиба и миллионы ему подобных хоть на минуту выпустили из рук оружие в тяжкую пору фашистского нашествия.

Молчаливый и тихий по натуре, Иван любил, однако, петь, за что и был наречен в роте «курским соловьем». Пел всякое — и веселое, и грустное, больше, впрочем, веселое. А вот когда становилось невмоготу, когда глаза будто пощипывало дымом от спаленных селений, когда в горле вставало что-то, готовое заслонить дыхание, он глухо, прерывающимся, хриплым голосом заводил:

Ой, наступала
Та чорна хмара...



Никто, кажется, так не страдал при виде сожженного и порушенного, как Иван Давискиба.

— Что они робят?.. Это ж все нашими руками сделано! Звери и те того не наделают, — говорил он, проходя мимо пепелищ где-нибудь в Полтавской либо в Харьковской области. А в минуты затишья, нахмурившись, напряженно размышлял, прикидывал в уме, сколько же лет понадобится, чтобы вызволить родную землю, поднять из руин, воскресить. Видать, выходило что-то уж очень много этих лет, и Давискиба протяжно вздыхал; в эти минуты он казался еще меньше, словно бы сжимался от невыразимой боли, возникавшей в его душе. Идя фронтовой дорогой по родимой советской земле, он то и дело наклонялся: то подкову подымет, то гвоздь какой, то чекушку от тележной оси, то старый замчишко — подымет и положит у обочины, в сторонке, на видном месте: глядишь, пригодится добрым людям в хозяйстве на первых-то порах...

Ночами, дежуря у своего пулемета в окопе на переднем крае, Давискиба подолгу глядел на небо, ища среди звезд маленькую зеленоватую точку, медленно скользящую между небесных светил. Где-то в вышине тарахтел бесстрашный самолетик по прозвищу «кукурузник». Отыскав его глазами, солдат улыбался:

— Ишь ты, работяга...

В этом «работяга» была высшая похвала. Таким вот работягой был и он, Иван Давискиба, гвардии рядовой четвертой стрелковой роты. Где он сейчас, не знаю. Но почему-то ясно представляю себе его в эту зимнюю пору стоящим на улице и отыскивающим в звездном морозном небе новую звезду, созданную руками его соотечественников. Найдя, он, наверное, так же, как когда-то на войне, улыбнется и со светлой радостью уронит в звонкую вечернюю тишь:

— Ишь ты, работяга...

Но вряд ли ему придет в голову, что и его солдатские руки, четыре года не выпускавшие пулемета, принимали самое непосредственное участие в сооружении этого чуда.

Неведомо нам, что стало с детьми Ивана Дaвискибы, где они сейчас, что делают. Было их у него семеро, и теперь все они — взрослые, сильные люди. Может, отправил Иван сынов на целинные земли? И не их ли молодыми руками добыт тот Большой Хлеб, которым ныне гордится вся страна? Разве мог остаться в стороне от новой битвы — за пшеницу — бывший образцовейший солдат Иван Давискиба? Так смыкаются два народных подвига: ратный и трудовой.

Но у Ивана Григорьевича было пять сыновей и две дочери. Не его ли сыны стоят сейчас часовыми у рубежей нашей Родины? Да, и это — они!

Нам остается только сказать о дочерях Ивана Давискибы. Они могут находиться где-нибудь в Кулундинской степи со своими братьями, а могут трудиться и в своем колхозе — не о них ли идет ныне добрая молва?

А сколько еще дел предстоит свершить этой чудесной семье!

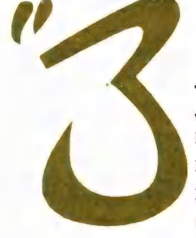
Вместе со своими родичами, земляками, со всеми людьми необъятной Советской страны труженики этой семьи щедро отдадут свои знания и энергию, чтобы в стране было больше металла, угля, нефти, станков, тканей и всего нужного для доброй жизни строителей коммунизма. Рука об руку с учеными, исследователями тайн атомного ядра, покорителями космоса, творцами новых видов растений они будут идти вперед, трудом утверждая ленинские идеи.

И да будет она во веки веков счастлива на своей счастливой земле, эта хорошая, скромная и дружная семья, семья богатырей!

1960 г.

С ДУМОЙ О РОДИНЕ

1



дравствуй, Алеша, славный гвардеец запаса! Пишет тебе твой младший брат, гвардии рядовой Николай Прокудин, только что сменившийся с поста. За многие сотни верст от родимой сторонки ты, мой старший брат, закончил свой большой поход. Здесь я, наследник боевой славы, принял от тебя оружие и теперь служу Родине.

В нашей Ленинской комнате тепло, уютно, празднично. Пройдет еще несколько часов, и из маленького голубого приемника, что стоит на тумбочке, раздастся далекий звон Кремлевских курантов — голос Москвы, голос Родины нашей...»

Живое, теплое, материнское слово Родины! Как оно дорого солдату, несущему службу за рубежом родной страны.

...Горы, горы, горы кругом... Белые хлопья облаков скользят по их вершинам, бросая на заснеженные долины свои причудливые тени. Все здесь мне незнакомо: и эти усадьбы, и пейзажи, и одежда, и быт горцев.



И вдруг — бесконечно родное, близкое сердцу, наше: дом с трепещущим багряным флагом над крышей... Скорее, скорее к нему! Солдаты только что сменились с поста. Звучат русская речь, русские песни. И уж, конечно, эта:

Сторонка, сторонка родная,
Ты солдатскому сердцу мила,
Эх, дорога моя фронтовая,
Далеко ты меня завела!

И долго тает в ущельях звук этой песни. И ты, затаив дыхание, прислушиваешься к ней, будто настраиваешь свое сердце на нежную, до трепета душевного родную волну своей прекрасной родной социалистической державы. Невольно поворачиваешься лицом на восток, туда, где загорается утренняя зорька, как улыбка Отчизны. В эту минуту исчезает огромное расстояние, отделяющее нас от родимой стороны, ощутимее становятся нити, связывающие нас с советской землей, глубже чувствует сердце любовь Родины.

Живой чистый родник любви бьет непрерывно. Его биение мы, солдаты, видим в письмах, слышим в эфире, о нем рассказывают нам книги, газеты, журналы. Но особенно это чувствуется с приближением Нового года. Свежая его струя врывается к нам потоком милых писем от замечательных советских людей. И происходит то, что невозможно ни в одной капиталистической стране, то, что мы называем непрерывной связью нашей армии со своим народом и что делает эту армию и народ несокрушимою, могущественною силой.

Письма героев труда и ответы наши — явление прекрасное, их нельзя читать спокойно, не испытывая великой гордости за советский народ, за его армию, за Советскую Родину.

«Хочется расцеловать ваши дорогие руки», — написал в своем ответе на письмо землячки, добившейся урожая свеклы 812 центнеров с одного гектара, ее односельчанин, а мой товарищ по службе, гвардии рядовой Иван Приходько. И закончил свое письмо словами: «Мы, ваши защитники, крепко держим в руках оружие и не дадим вас в обиду. Пусть беснуются империалисты. Им нас не устрашить! И 100 миллионов долларов, ассигнованные на вербовку шпионов, диверсантов и другой разной нечисти не помогут империалистическим хищникам осуществить их кровавые замыслы. Мы — зорки! Мы — сильны! Мы — на посту!»

2

«У меня большая радость, Алеша. Теперь я стал наконец в ряды передовых воинов нашей роты. Через несколько часов пробьют Кремлевские куранты и возвестят начало Нового, 1952 года. Праздник, Алеша! Все подводят итоги сделанного за прошедший год. Вот и ты, отличный экскаваторщик с Волго-Донского канала, написал о своих победах. Так разреши же и мне порадовать тебя своими успехами. Ведь ты знаешь, что давались они мне нелегко.

Служба моя в армии началась с принятия присяги.

Я стоял перед строем солдат, держа перед собой небольшой листок с отпечатанным текстом, и давал торжественнейшую клятву на верность Родине. Голос мой слегка вздрагивал от волнения. Ты же знаешь — такая минута бывает только один раз в жизни!..

И думалось мне: вся огромная наша страна, от края и до края, застыла в напряженном внимании, слушает меня, как бы шепча про себя: «Хорошо, Прокудин, хорошо! Но не забывай своей клятвы. Делами ее подкрепляй!»



Делами, конечно. Это я знал. Только немножко побаивался: из твоих слов я знал — нелегка солдатская служба. Хмурился, думал... Поразмыслив, решил: «Ничего, не боги горшки обжигают...»

И уверенно взял в руки карабин. А в это время за мной уже внимательно следили глаза командира.

Настал наконец такой день: командир меня похвалил.

Только признаюсь, Алеша, от его слов мне стало еще беспокойнее: «Оправдаю ли надежды своего сержанта?» Вот что волновало, тревожило. Как-то вскоре, подойдя ко мне, сержант пристально посмотрел в мои глаза (я еще тогда не знал, что наш сержант-сверхсрочник — твой сослуживец и что вы с ним вместе всю войну отмахали, во всех походах участвовали), посмотрел и говорит:

— Солдат должен быть в постоянной боевой готовности.

— А это как надо понимать? — спросил я.

— Это... — сержант задумался. Взял из моих рук карабин, улыбнулся, потом опять лицо его стало серьезным: — Это значит, Прокудин, в любую минуту быть готовым вступить в бой с врагом. А если поглубже взять этот вопрос да пошире, то скажу вот что: учиться надо только на «отлично», нести службу образцово, быть дисциплинированным и исполнительным воином, всегда жизнерадостным и бодрым, не тяготиться службой, а главное, всем сердцем любить свою Родину.

Понял я его слова, конечно. Ведь и ты мне говорил то же самое, провожая в армию. Но зато командиру моему потом досталось, не давал я ему покоя: то мне покажи, другое расскажи. И не уйду до тех пор, пока в толк все не возьму да не разузнаю хорошенько.

Были, Алеша, у меня и неудачи. Этого я от тебя не

скрываю — ты ведь тоже сержант, в одном звании с моим командиром. Ничего, что ты в запасе...

Еще недавно на собрании военнослужащих нашей части говорили обо мне:

— Если Прокудин по физподготовке поднатужится — быть ему отличником. Сами посудите: на стрельбах лучшего стрелка не сыскать, по тактике — опять же молодец, по политподготовке — тем более. А вот по «физо» пока что отстает. Трудно ему, но старается...

А сейчас, Алеша, на рубеже Нового года, и физподготовку одолел.

«А как у тебя с дисциплиной? — спросишь ты. — Не пишешь почему-то об этом». Не пишу, правда. Но об этом тебе сообщает мой командир, а твой друг. Вот вкладываю в конверт и его маленькую записку.

«Не беспокойся, Алексей, за брата. Ты же знаешь меня, — не потерплю я недисциплинированности в своем отделении. Твой брат хорошо помнит присягу. Посмотрел бы ты в его карточку взысканий и поощрений: 14 поощрений и ни одного взыскания. Так-то, по-нашему, по-гвардейски, служит братуха твой!..»

Вот мои итоги, Алеша.

...А там, за невидимой чертой, которую называют демаркационной линией, другая жизнь, другая армия, другие думы — черные, злобные. Я об этом знаю. Я это вижу. Я даже слышу иногда — ведь мне не раз приходилось стоять на заставе...»

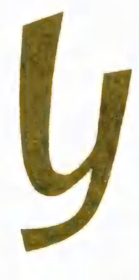
1952 г.





БИОГРАФИЯ МОЕГО БЛОКНОТА

БИОГРАФИЯ МОЕГО БЛОКНОТА



У всякого уважающего себя и свое ремесло журналиста всегда должен быть блокнот. Иные именуют эту измочаленную до полусмерти книжицу громко: «Моя творческая лаборатория». Первую половину войны я не был журналистом и потому не нуждался в такой «лаборатории». Необходимость в ней появилась лишь в июле сорок третьего года, когда совершенно неожиданно из артиллерийской батареи меня направили в «дивизионку» — крошечную газетку с воинственно-внушительным названием «Советский богатырь».



В ту пору я был моложе на двадцать лет. Об этом думаешь с вполне понятной грустью, но что поделаешь! В данном случае имеется в виду совсем иное: очевидно, у двадцатитрехлетнего человека — одно восприятие событий, а у сорокатрехлетнего — совершенно другое. К тому ж тогда ты видел только то, что видел, и видел все так, как было. Теперь же приходится вспоминать.

А память, как известно, особа хоть и цепкая, все же не настолько надежная, чтоб мы могли довериться ей вполне.

Вот почему, принимаясь за эту книжку, я несколько дней затратил на то, чтобы разыскать блокнот, сослуживший мне добрую службу в работе над романом «Солдаты». Одно время мне даже казалось, что блокнот погиб. Я совсем уж было уверился в печальном обстоятельстве и начал будоражить память, чтобы она перенесла меня на двадцать лет назад, и в этот-то момент блокнот, будто сжалившись над хозяином, как бы сам собой вынырнул откуда-то из груды старых пожелтевших бумаг и лег передо мною во всем своем великолепии. О, это воистину необыкновенная книжка! О ней я мог бы рассказать целую историю и убежден, что история эта не показалась бы скучной. Впрочем, так оно, пожалуй, и будет, потому что предлагаемые вниманию читателей документальные новеллы есть не что иное, как частично расшифрованная биография моего блокнота.

Для начала опишу его внешность — недаром же вырвалось у меня слово «великолепный». Толстый, защитного цвета переплет, и на нем шрифтом, по-военному строгим и бескомпромиссным, начертаны слова, по которым никак уж нельзя было догадаться о том, что блокнот принадлежит журналисту.

Вот они, эти слова:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ РККА.
ВРЕМЕННОЕ НАСТАВЛЕНИЕ
ПО ПОЛЕВОЙ СЛУЖБЕ
ВОЙСКОВЫХ ШТАБОВ.

В самом низу:

Фрунзе. Киргизгосиздат. 1941.

Вот в какой надежный панцирь было заключено мое сокровище. Он напоминал хлопчатобумажную обмундировку, хотя и бывшую в употреблении, но хорошо сохранившуюся и приберегаемую впрок рачительным старшиной. Само наставление, разумеется, было выдрано, и на его место вшито триста чистых листков газетной бумаги. С этого-то блокнота, собственно, и началась моя профессиональная журналистская деятельность.

Записи в блокноте, естественно, короткие. Немногое могли бы рассказать они стороннему человеку, которому вздумалось бы полистать блокнот. Но для автора — очень многое. Ведь эти торопливо, впопыхах брошенные два-три слова и есть тот самый толчок, который заставляет работать память и воскрешать тот или иной эпизод в полном его объеме.

Посмотрим же, как преображались эти записи, когда на помощь их автору спешила память. Будут они приводиться далеко не все, но для удобства возьмем их так, как если бы шли они одна за другой.

Итак...

ПИЧУЖКА

За Днепром встретил девушку-связистку. Все зовут ее Пичужка. Надо бы о ней написать в газету.

Ноябрь, 1943 г.

Залитое солнцем поле полно звуков. Рокот тракторных моторов, резкий стрекот лобогреек, протяжные песни косарей, веселый говор девчат, крики перепелок сливались в один торжественный гимн колхозному труду. Груженные тяжелой янтарной пшеницей грузовики, вздымая клубы горячей пыли, взад и вперед сновали по степным дорогам. Была горячая пора уборки урожая.

Кто бы тогда мог подумать, что через год этот мирный край станет местом жесточайших сражений! Думала ли молодая колхозница Аня Печенежская, что руками, которыми она проворно и ловко вязала снопы, будет среди грохота войны связывать концы оборванного телефонного кабеля, что ей, хрупкой девчонке, придется выносить все тяготы самой большой, самой страшной и беспощадной войны!

...С запада надвигалась беда. Вскоре она докатилась и до села Новодоновка. Начались ужасные дни. Утром, пробегая по улице, Аня увидела на крыше сельского Совета флаг с той безобразной свастикой, похожей на огромного черного паука, которую когда-то рисовали в школе мальчишки, изображая фашиста. Вместо грузовиков с пшеницей по улице мчались черные машины, до отказа набитые солдатами в плоских касках...

Страшное началось позже — это облава на девушек. И тогда Аня покинула родное село, убежала за Донец.

...Пятого июля 1943 года вздрогнул Донец от рева тысяч орудийных глоток: началась июльская битва.

Осколки снарядов и мин рвали телефонную линию. На линию то и дело выбегала девушка в выцветшей гимнастерке. Не обращая внимания на дикий вой осколков, она быстро бежала вдоль линии, находила повреждение. Загорелыми, огрубевшими, ободранными руками связывала концы проводов и так же быстро возвращалась обратно.

Это была Аня Печенежская. Вместе с Красной Армией прошла она весь длинный путь летнего наступления — от Северного Донца до Днепра. И темной сентябрьской ночью первой из девушек-связисток переплыла на западный берег Днепра. В эти дни ловкие руки девушки не знали усталости. Только разве ночью, в короткие часы передышки, они тихо ныли.

...Ночь. Рвутся недалеко снаряды, разбрасывая во все стороны жирные комья украинской земли. В хате чуть-чуть мерцает огонек. Накрывшись солдатскими шинелями, чутким сном спят подруги: они отдыхают после дежурства. Аня не спит. К ее ушам плотно прижаты телефонные трубки. Острый слух ловит тонкое, пчелиное гудение зуммера — дзз... дзз... Ни на секунду не смыкаются большие девичьи глаза: в любую секунду могут позвонить...

К утру ее сменяют. Не раздеваясь, она ложится отдыхать. Однако назойливый зуммер еще долго гудит в ушах. Часто и во сне она говорит: «Включаю!.. Разговаривайте с «Сосной»...»

Неспокоен и короток солдатский сон.

КАЛМЫКОВКА

Беда, кажется, непоправимая. Осколком бомбы разбило нашу «американку» [1]. Почему-то тяжелее всех переживает это горестное событие наш новый товарищ — хозяйский сын Иван. Отчего бы это?

24 января 1944 г., с. Калмыковка, Кировоградской области

По прибытии в Калмыковку разместились, как обычно, в одном дворе. Печатная машина — в полуторке, а мы сами — в избе, вместе с хозяевами. У хозяев два сына: старшему — лет пятнадцать, младшему — десять. Младший любимец матери и отца. Те его баловали в ущерб старшему, и по этой причине «младшой» не был любим нами. При всяком удобном случае мы давали ему щелчка, а старшего угощали свиной тушенкой и консервированной колбасой. За это по ночам он добровольно сторожил наше «хозяйство».

Однажды под вечер я возвращался из штаба армии, вез на подводе рулон бумаги. Повстречался с легковой машиной, ехавшей из Калмыковки. Увидел в ней нашего начальника политотдела, прислонившегося головой к шоферу. Что с полковником?

Однако вскорости все разъяснилось. Оказывается, на Калмыковку немцы совершили массированный налет и основательно разбомбили ее. Начподив был сильно контужен, и теперь его везли в госпиталь.

Пострадало и наше веселое «хозяйство». Хата сгорела. Хозяева ходили по двору неприкаянные. Младший из сыновей ревел. Старший молча, как делал все, отбирал среди обгоревших стропил, которые по-

---

[1] «Американка» — печатная машина.

крепче, и складывал их в одном месте. Потом он оставил свои дела и совершенно неожиданно для нас спросил, обращаясь к Дубицкому, которого успел полюбить:

— А газета выйдет?

— Не выйдет, — сказал Дубицкий.

— Чому ж вона не выйдет?

— Разбило осколком печатную машину.

Никогда прежде я не видел, чтобы лицо хлопчика так помрачнело.

— А как же... як же... зараз? — растерянно пробормотал он.

— Попробуем починить, — сказал Дубицкий неуверенно.

Попробовали, но у нас ничего не получилось.

Решили командировать меня в армейскую артмастерскую, находившуюся в только что освобожденном нами Кировограде.

Иван — так звали старшего хлопца — попросил:

— Возьмите и меня с собою.

Ехал я в мастерскую с большим сомнением: до нашей ли машины будет артиллерийским мастерам, когда так много поврежденных орудий, автоматов и пулеметов. Но я ошибся. К приятному моему удивлению, два самых лучших мастера, не дожидаясь указания начальников, отложили все свои дела и двое суток кряду, без смены и почти без отдыха, мудровали над старой «американкой». Иван помогал им, так ни разу и не прикорнув за эти двое суток.

А на третий день, когда вновь вышел в свет наш «Богатырь», Иван схватил несколько свежих номеров и обежал с ними всю Калмыковку.

Дубицкий был настолько счастлив, что тот день не шпынял нас своими ядовитыми словесами.

Потом этот эпизод, как и многие другие, был надолго забыт мною. Блокнот же воскресил его.

ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК И ГВАРДИИ РЯДОВОЙ

Нас постигло большое горе. Несколько дней тому назад на Южном Буге погиб замечательный человек и талантливый командир полка, кавалер пяти орденов гвардии подполковник Игнат Федорович Попов. Похоронили в Семеновке. А уже за Бугом, спустя неделю, в кармане убитого солдата нашли стихотворение. Удивительно все это!

30 марта 1944 г.

Он лежал в глубокой и сырой борозде курящейся паром черноземной украинской степи. Санитары повернули его лицом вверх будто для того только, чтобы он в последний раз своими широко раскрытыми, но уже ничего не видящими глазами посмотрел в ясное по-весеннему, родное небо. Документов в карманах солдата не оказалось, так что трудно было установить его имя. Листок же, вырванный, очевидно, из тетрадки, был не подписан. На нем стихотворение. Оно, конечно, далеко от высокой поэзии. Но я привожу его полностью:

Катится по шинели
Слеза и горька, и тяжка...
Бесстрашный, любимый всеми,
Погиб командир полка.
Земля завертелась кругом,
В разрывах не слышно слов.
Но страшная весть над Бугом
Промчалась: убит Попов!
Попов, что не верил бедам,
Что храбрость вливал в сердца,
Что вел нас всегда к победам
У Волги и у Донца.

Смерть, коварная, злая!
Нашла же кого ты взять!
Ведь жизнь свою каждый, знаю,
Готов за него отдать!
На могиле отца не плакал,
Не плакал от тяжких ран,
А видишь, над ним заплакал
Суровый наш ветеран.
Так пусть содрогнутся гады,
Нам лозунгом будет: месть!
Прикажут: «Взять все преграды!»
Ответим мы только: «Есть!»
Товарищ, что в нашем слове?
К оружью! И выше стяг!
Потоками черной крови
Заплатит нам злобный враг!

Южный Буг, 27 марта 1944 года.

Не помню, по чьему предложению, но только похоронили того безвестного солдата в селе Семеновке, рядом с могилой Игната Попова. Так и лежат они плечом к плечу: гвардии подполковник и гвардии рядовой — верные сыны России.

НЕЗЛАЯ ШУТКА

Слаще ли редька хрена? Вот
в чем вопрос!

5 апреля 1944 г.

Помимо начальника политотдела полковника Денисова, «Советский богатырь» имел как бы постоянного своего шефа, а точнее сказать, опекуна в лице гвардии капитана Солдатова. Добрый по натуре, он был, однако, беспредельно строг и суров в смысле воинской дис-

циплины, которая в славном «хозяйстве первопечатника Ивана Федорова», как мы называли свою «дивизионку», конечно же, прихрамывала на обе ноги. Капитан Солдатов, судя по всему, поставил перед собой заведомо неразрешимую задачу: подковать нас на эти самые две ноги. Устраивал нам ночные тревоги, марш-броски с полной боевой выкладкой, смотры нашей строевой выправки, при этом бедных наших хлопцев-наборщиков по часу заставлял стоять по команде «смирно». Мало того, самозванно взял на себя роль редактора и был столь скрупулезен по части сохранения тайны, что в пору хоть закрывай газету.

«Н-ская дивизия»,

«Н-ский полк»,

«Н-ский батальон», даже «Н-ская рота» — вот любимая терминология капитана Солдатова. Однажды ради шутки мы набрали заметку, в которой было сказано буквально следующее: «На днях в Н-ском полку солдат Н. первым ворвался в Н-ский населенный пункт, убил энное количество фрицев...» — ну и так далее.

Солдатов внимательно прочел сие сочинение, поморщил лоб, соображая, и затем размашисто завизировал: «Разрешаю. Солдатов».

Про себя мы посмеивались над Солдатовым, понимали, что все его усердие продиктовано, в общем-то, самыми добрыми побуждениями, и все-таки очень обрадовались, когда узнали о переводе Солдатова в другую дивизию. Мы хоть и привыкли к нему, тем не менее вздохнули с облегчением: наконец-то! А через два дня узнали о новом шефе. Фамилия его была... Солдатенко.

Бедный, он никак не мог понять, появившись в расположении нашего веселого «хозяйства», отчего вся наша братия встретила его дружным хохотом.

— Вот уж истинно сказано, хрен редьки не слаще, — шепнул мне Андрей Дубицкий. И закончил оптимистически: — А впрочем, поживем — увидим!

Вот, собственно, что должна означать несколько загадочная запись в моем блокноте, датированная 5 апреля 1944 года. К этому следует добавить еще одну очень существенную деталь: капитан Солдатов выехал от нас первого апреля. Вспомни мы про нее в ту минуту, мы, вероятно, не удивились бы так появлению капитана Солдатенко...

ЧП

Такого еще в нашей дивизии не было. Что может быть позорнее этого! Денисов... По-моему, начподив только так и должен был поступить с мерзавцем в таких сложных обстоятельствах.

5 октября. Тыргу-Муреш. 1944 г.

Война громыхала уже в Трансильванских Альпах; пушки гулко ухали высоко в горах, эхо разносило этот гром далеко по ущельям. Кудрявые шапки от разрывов бризантных снарядов висели на одном уровне с нежно-белыми, легкими облаками, местами пронзенными острыми шпилями Альп.

Дивизия медленно, точно корабль, зажатый гигантскими торосами, пробиралась средь горных стремнин, стараясь выйти на просторы Золотой венгерской долины. Каждый перевал приходилось преодолевать с жестокими боями.

«Дивизионка» между тем жила своей обычной хлопотливой жизнью. Вернувшиеся с передовой сотрудники писали заметки, наборщики быстро превращали их в гранки. Стучала, шлепала древняя старуха

«американка», и наутро свежая газета-малютка отправлялась в горы.

Помнится, полосы были уже сверстаны и печатник Обухов приправлял их, чтобы начать печатать, когда в редакцию позвонили из полка и сообщили о подвиге рядового К.

Будучи раненным, солдат не оставил поля боя, а смочил своей кровью нательную рубаху, привязал ее к палке и первым ворвался на гребень перевала, увлекая за собой всю роту. И только после этого его увезли в санчасть, а оттуда — в медсанбат.

— Иван, развинчивай первую полосу! — скомандовал обрадованный редактор. — Будем ставить новый материал!

Конечно, нужно было бы проверить это сообщение, отыскать самого героя, а также свидетелей его подвига, но разве можно упускать время!

И вот на другой день «Советский богатырь» в самых возвышенных тонах поведал всему честному люду о геройских делах солдата К. А еще через день его подвиг расписала более подробно армейская газета. Днем позже о подвиге К. можно было прочесть обширную корреспонденцию во фронтовой газете. Снежный ком, катясь, стремительно обрастал, увеличивался до невероятных размеров и двигался уже шумным и грозным обвалом.

Шум этот вскоре дошел до капитана Нестеренко, дивизионного следователя. Он был занят расследованием редкого и неприятного дела о самостреле. Капитана особенно беспокоило то, что имя и фамилия героя, о котором писали газеты, в точности совпадают с инициалами его подследственного. А потом, когда были получены новые материалы, стало совершенно ясно, что по жестокому недоразумению в герои зачислен презренный трус.

Нестеренко позвонил полковнику Денисову. Начальник политотдела через каких-нибудь десять минут был уже у следователя. Нестеренко сидел за небольшим столиком, а перед ним стоял с перебинтованной рукой солдат и тупо глядел в одну точку отрешенными от всего на свете глазами. Денисов, маленький, упругий, аккуратный, глянул на «героя» с беспредельной ненавистью и стал быстро ходить взад-вперед по комнате, напряженно думая. Потом резко остановился, повернулся лицом к солдату и, обращаясь не к нему, а к следователю, сказал:

— Вот что, Нестеренко... Отправляй его к черту... в госпиталь отправляй. Судить не будем...

Очевидно, слова полковника каким-то образом проникли в затуманенное сознание преступника, в глазах его блеснуло что-то, он сделал короткое, почти неуловимое движение. Денисов заметил это.

— А ты, мерзавец, не думай, что мы тебя пощадили... — говорил он, бледнея и отворачиваясь от солдата. — Ты... ты не человек!.. Тебя раздавить мало!.. Но мы не можем принести в жертву добрую славу и святое имя тысяч настоящих героев, на которых легла бы твоя позорная тень... Иди, подлец, без тебя довоюем. Иди и помни, что никого больше не интересует твоя ничтожная и никому не нужная жизнь... И если в тебе осталась хоть самая малая капля совести, она все равно не даст тебе жить спокойно, она раздавит тебя, как поганую тварь. Иди!

Вечером полковник Денисов сам писал объяснение начальнику политотдела армии в связи с этим чрезвычайным происшествием.

Что же касается нас, работников «дивизионки», то все мы получили свои честно заработанные выговоры.

СОЛДАТКА

Солдат Сергей Смирнов. Его обидное письмо жене. О, как много тугих узелков завязывает война!

12 декабря 1944 г.

Анна Михайловна Смирнова пришла с работы поздно. Дети вернулись из детского сада и, не дождавшись матери, заснули где попало. Пятилетний Ленька, раскинувшись, лежал на соломе, приготовленной матерью еще с утра для топки печи. Его сестра Тоня забралась на печку и спала там, обняв пухленькими ручонками большого кота Ваську.

Анна отнесла Тоню на кровать и вернулась за Ленькой. Когда она наклонилась над сыном, больно и сладко заныло сердце.

— Вылитый Сергей...

Большая слеза скатилась из ее глаз и упала на розовую щечку сына. Женщина долго стояла на коленях возле Леньки. Какая-то невидимая сила притягивала ее к этому маленькому существу, так напоминавшему ей мужа, который был теперь далеко от нее, на чужой стороне.

Анна почувствовала, что может разрыдаться. Она быстро и осторожно, как может делать только мать, подняла на руки сына и унесла его в другую комнату.

Сама она долго еще не ложилась спать. Надо было подоить корову, перемыть посуду, наколоть дров.

А когда легла, ей не спалось. Широко раскрытыми, неподвижными глазами смотрела она в потолок и видела его, своего Сергея, его голубые глаза... Из ее груди вырвался тихий стон. Ей показалось, что вот сейчас подойдет муж, возьмет ее за плечи, как раньше, до войны.

Женщина продолжала лежать с открытыми глазами до тех пор, пока усталость властно не опрокинула ее в короткий и беспокойный сон.

Поднималась она рано, до рассвета. Доила корову, топила печь. Потом, разбудив сына и дочь, кормила их и отводила в детский сад. Затем шла на работу.

Как-то, возвратившись с общего колхозного собрания, где ее премировали поросенком, Анна увидела на окне синий конверт. Взяла его и дрожащими пальцами быстро извлекла письмо.

Прочла один раз, другой, третий... Сначала все, что было написано в письме, как-то не доходило до нее, не укладывалось в голове. С минуту она стояла неподвижно, будто в недоумении. Вдруг почувствовала: земля медленно начала уходить в сторону, ноги дрогнули, и она бессильно опустилась на стул...

Пришла соседка.

— Аннушка, что с тобой? — спросила она.

Анна не могла говорить, только показала на письмо.

«У моего товарища, — писал Сергей, — жена вышла замуж за другого. И все вы, женщины, такие. Мы тут воюем, а вы... Вот теперь я и тебе не верю. Пишешь одно, а делаешь, наверное, другое».

Несколько дней Анна не знала, куда деться со своим горем.

Значит, труд, ее любовь, ожидания — все было напрасно. Он ничему не верит!..

Горькая досада на мужа тяжелым камнем легла на сердце.

— Как он смел, как он смел!.. Ведь я мать, — повторяла она. — Мать двух его детей!..

Анна ежедневно выходила на работу. Там ей было легче.

Однажды ей даже показалось, что Сергей стал

для нее далеким и чужим. Но стоило прийти домой и взглянуть на сына, как муж вновь становился прежним, бесконечно близким и родным.

Она взяла Леньку на руки и стала жадно и страстно целовать его в крутой лобик, в глаза, в этот маленький нос, так напоминавший ей любимого человека, безжалостно обидевшего ее.

Тоня, следившая за матерью большими, как у матери, глазами, спросила:

— Мама, а зачем у тебя слезы?

Мать, встрепенувшись, ответила:

— Это оттого, доченька, что я очень тебя люблю.

Ленька, ревновавший мать к сестре, надул губы, готовясь зареветь.

— А меня? — уже вздрагивающим голосом спросил он.

— И тебя, сынок... Я вас обоих люблю!..

— А тятьку? — неожиданно спросил Ленька.

Мать пристально посмотрела в глаза сына, и комок подкатил к ее горлу. Она едва проговорила:

— И тятьку...

* * *

Однажды ефрейтора Сергея Смирнова вызвали к начальнику штаба полка майору Афанасьеву.

Не без робости подходил Сергей к блиндажу командира. Он знал строгий нрав майора и тщетно пытался вспомнить, в чем, собственно, провинился.

Смирнов тихо постучал в дверь и, получив разрешение, вошел в блиндаж. Первое, что он увидел, — это большой синий конверт в руках начальника штаба, конверт, в котором Сергей отправил последнее письмо жене.

Смирнов посмотрел на майора.

— Зачем ты ей написал это? — после некоторой паузы спросил начальник штаба, указывая на письмо. — Ты что, был уверен во всем, что писал?

Сергей молчал. Конечно, он не был уверен в этом. Все как-то само собой пришло ему в голову. Она молодая, красивая... Его три года нет дома... Сколько можно ждать?..

Майор долго беседовал с солдатом и, только когда стало темнеть, отпустил его в роту.

Всю ночь Сергей не мог заснуть. Он думал о своей солдатке, которую так обидел. Думал и знал, что там, далеко-далеко, в родном его селе, вот так же, не смыкая глаз, лежит на своей постели его жена, и все мысли ее о нем.

СЛУГА НАРОДА

В «дивизионке» узнали об удивительной встрече солдата-избирателя со своим депутатом. Случается же такое!

Декабрь, 1944 г.

Алексей Круглов ждал. Одна минута, другая, третья... Вот уже тридцать минут длится артподготовка. Полчаса земля дрожит как в лихорадке: впереди, в двухстах метрах, бушует море разрывов. Учащенно бьется сердце... Еще несколько минут — и в воздух со свистом взовьется ракета, раздастся команда «Вперед!».

Алексей посмотрел вправо. Коренастый пехотинец, его сосед, уже наполовину вылез из окопа и, вцепившись пальцами в мерзлую насыпь, готовился выпрыгнуть. Шапка упала с его головы, но он не замечал этого.

— Эй, товарищ, шапку топчешь! — крикнул ему Круглов, который только накануне наступления прибыл в роту и которому очень хотелось хоть с кем-нибудь завести знакомство.

— Шапка, говорю, упала! — повторил он повернувшемуся к нему пехотинцу.

Но как раз в этот миг в воздух взвилась ракета. Сосед выскочил и с громким «ура», то и дело спотыкаясь, побежал вперед. Алексей подтянулся и перевалил через бруствер. Вскочив на ноги, он помчался вслед за пехотинцем.

Он бежал, тяжело дыша. Немецкие траншеи были уже совсем близко. «Еще немного, еще немного...» Вдруг что-то страшно треснуло рядом с Алексеем, земля качнулась и стала переворачиваться, уходя куда-то кверху. Алексею показалось, что он сейчас провалится в пропасть, и он судорожно схватился за траву. «Помогите!» — хотел крикнуть Алексей, но не смог. Руки его ослабели, выпустили траву, и он неудержимо покатился в черную бездну...

Но что это? Он не разбился. Лежит на чем-то холодном и сыром. Кто это трясет его за плечи?.. Алексей с трудом раскрыл глаза и сквозь туман увидел склонившегося над ним человека.

— Жив? — ласково спрашивал он, поднося к дрожащим губам Круглова флягу с водой. — Не бойся... Выпей... вот так...

Лицо человека показалось Алексею знакомым. «Где я видел его?» — спрашивал он себя, пытаясь вспомнить. Но тут же потерял сознание.

Через два месяца Круглов возвратился из госпиталя. За это время батальон ушел далеко на запад от того места, где был ранен Алексей. Мысль, которая беспокоила его все эти два месяца, не оставляла Круг-

лова и сейчас. «Увижу ли я еще раз человека, который спас меня? И почему его лицо показалось мне знакомым?»

С этими мыслями он открыл дверь указанного ему блиндажа и... ахнул. Перед ним за небольшим столом сидел человек, вынесший его с поля боя.

— Что вы хотели... — начал было он, вставая из-за стола, но, узнав Круглова, тоже запнулся. Алексей стоял перед ним, радостный, сияющий, устремив на него восторженный и благодарный взгляд, нетерпеливо комкая в руках шапку.

Теперь Круглов вспомнил, где он видел этого человека. Память быстро перенесла его на несколько лет назад, и он отчетливо представил маленький городок на Волге, залитую солнцем городскую площадь, украшенную цветами и флагами трибуну. На трибуне, рядом с секретарем райкома, стоит высокий человек с орденом Ленина на левой стороне груди. Это — знатный комбайнер страны. Его выдвинули кандидатом в депутаты. Он приехал в этот маленький городок, чтобы встретиться со своими избирателями.

Алексей, которому тогда только сравнялось восемнадцать лет и которого еще не покинуло детское любопытство, протиснулся к самой трибуне и не отрывал восторженных глаз от знаменитого человека, за которого он отдаст свой голос в первый раз.

Сергей Федорович Алаторцев — так звали кандидата — говорил немного. Он кратко рассказал о себе, поблагодарил избирателей за высокое доверие, которое они ему оказывали, и обещал его оправдать.

Больше Круглов не видел Алаторцева вплоть до этой удивительной встречи.

И вот сейчас они стояли друг против друга — депутат и его избиратель...

— Я... я вас знаю, — наконец заговорил Алексей



срывающимся голосом. — Вы — наш депутат, я голосовал за вас...

И он стал торопливо рассказывать про тот солнечный, праздничный день, который он сейчас вспомнил, глядя на Алаторцева.

Алаторцев пристально смотрел на Круглова, удивленно вскинув густые черные брови. Его суровое лицо стало ласковым, в глазах засветилась теплота. Он порывисто шагнул к Алексею, сжал его в объятиях, крепко поцеловал и почему-то прошептал: «Спасибо, друг...» Ватная куртка на нем распахнулась, и Круглов увидел на его груди орден Ленина, а рядом с ним совсем новенькие орден Красного Знамени и медаль «За оборону Сталинграда». Потом депутат быстро отвернулся, словно стыдясь своей слабости.

— Да... да... это здорово... — твердил он в большом волнении.

* * *

Эту удивительную и в то же время самую обыкновенную историю мы услышали совсем недавно. И рассказал нам ее гвардии старший сержант Алексей Круглов.

— А где же сейчас Алаторцев? — почти одновременно спросили мы.

От этого вопроса Алексей сразу как-то помрачнел и низко опустил голову.

— Нету... больше Алаторцева, — с трудом выдавил он, и губы его дрогнули. — Погиб... в Будапеште... Королевский дворец штурмовал... Пять раз водил нас в атаку, потом немецкая пуля прямо в грудь ему попала. Только и успел проговорить: «Вперед, ребята!»

Старший сержант что-то вспомнил, стал шарить

в вещевом мешке. Через минуту вынул оттуда большой сверток старых писем.

— Это его переписка с избирателями. Они и на фронт ему писали, просили помощи, совета... Целые ночи, бывало, сидит, все ответы составляет... Мы ведь с ним после той встречи больше не расставались...

Мы вздохнули и надолго замолчали.

— Слуга народа, — словно отвечая на свои мысли, прошептал кто-то.

— Да, это был настоящий слуга народа! — взволнованно проговорили мы все сразу.

ЛЕЙТЕНАНТ ЛОБАНОВ

9 мая 1945 г. Не самый ли это радостный день?! И странно, что именно в этот день так поддел нас Миша Лобанов!..

Мы встретили его на продпункте в Ташкенте в начале декабря 1941 года, перед тем как выехать во вновь формируемую стрелковую дивизию в одном из небольших городов Северного Казахстана. Путь предстоял дальний, и мы запасались продуктами. Мы, то есть я и мой сосед по госпитальной койке старший лейтенант Грищенко, обратили внимание на Лобанова по двум причинам, скорее, даже по трем: во-первых, лейтенант стоял рядом, в одной очереди; во-вторых, он ехал с нами в одну часть; в-третьих, и, очевидно, главным образом потому, что он поразил нас своим видом: он был мал ростом и очень молод, его хотелось назвать не иначе как «мальчик».

Было странно видеть на нем лейтенантские знаки различия. Меня все время подмывало спросить его: «Послушай, хлопец, уж не воспитанник ли ты какой-

нибудь части? Не рано ли ты, братец мой, нацепил знаки различия?» Однако я не спросил. Сделал это за меня не отличавшийся особой деликатностью старший лейтенант Грищенко. Он положил свою тяжелую руку на плечо Лобанова и, когда тот, застенчиво улыбнувшись, повернул курносое, круглое лицо, спросил:

— Откуда вы, молодой человек?

Нельзя сказать, чтобы вопрос прозвучал уважительно по отношению к еще незнакомому нам лейтенанту. Но Лобанов не обиделся. Он только опять как-то робко, неловко улыбнулся, и его маленькие черные глазки с несомненным восторгом уставились на моего приятеля. Меня нисколько не удивил этот взгляд. Грищенко был настоящий красавец: высок, строен, в меру горбонос, с крупным волевым ртом. Но это не все: на его новенькой гимнастерке сверкали две старательно начищенные медали «За отвагу», и это последнее обстоятельство не могло, конечно, не вызвать восторга у всякого человека, в особенности же у людей, не нюхавших пороху. А то, что Лобанов не нюхал пороху, у нас не вызывало ни малейшего сомнения. К тому же и сам он утвердил нас в этом убеждении, сказав в ответ на не слишком вежливый вопрос Петра:

— Я с курсов.

— Ну что ж, с курсов так с курсов. Вместе, значит, едем! — сказал Грищенко покровительственно. — На какую же должность?

— Командиром роты, — тихо ответил Лобанов и покраснел.

— Роты?! — Грищенко недоверчивым взглядом окинул маленькую, щупленькую фигурку. — Послушай, лейтенант, а ты не того... не загибаешь, случаем?

— Нет. Я — правду... Командиром роты связи.

Меня забавлял вид моего дружка. Петру явно не

нравилось, что вот этот мальчик назначен на равную с ним должность. Правда, Грищенко мог бы успокоить себя тем, что сам он ехал командовать не обычной, а разведывательной ротой, которая, как там ни говори, была все же на особом положении у командования и которая, пожалуй, приравнивается к батальону, в чем меня старательно убеждал Петр еще в штабе округа, где мы получали назначение. Но сейчас Грищенко, повидимому, забыл об этом и продолжал недоверчиво выпытывать у лейтенанта.

— Рота — дело серьезное, — говорил он Лобанову веско, уверенный в том, что каждое его слово много значит для этого юнца: ведь Лобанов имеет дело не с кем-нибудь, а с фронтовиком. — Тут, брат, голова нужна. А то можно пропасть, — на всякий случай припугнул Грищенко. — Может, для начала тебе и взвода хватило б, а?

— Меня на роту назначили, — спокойно и как будто даже равнодушно ответил Лобанов.

— А ты б отказался. Не могу, мол, ротой...

— Как же откажешься, коль приказ? — удивился Лобанов.

— Приказ?.. — в некотором замешательстве пробормотал мой приятель и, чтобы выиграть время на обдумывание доводов, начал было рассказывать какую-то притчу из фронтовой жизни. Поведать ее он не успел: подошла наша очередь получать продукты. Досказал уже в поезде, который мчал нас по студеной и, казалось, бескрайней казахстанской степи. И, закончив, внушительно подытожил: — Вот как бывает, дружище, на фронте-то. А ты...

Кроме медалей, Петр Грищенко привез с фронта не то чтобы уж очень глубокую, но все же порядочную отметину, которая лиловела на его плече. Отметина эта пользовалась у моего дружка особым вниманием:

редкий час он не вспоминал о ней, любой предлог считал подходящим, чтобы рассказать о своем ранении. И часто напевал какую-то песню о ноющей ране.

Болела она у него почти всегда. Стоит чуть перемениться погоде, Грищенко начинал яростно тереть плечо, сокрушенно приговаривая: «Во, окаянная, покоя от нее нет». И оголял свою длинную волосатую руку. «А у тебя как, не болит?» — обращался он ко мне, чтобы, очевидно, не остаться одиноким в своем хвастовстве.

Я охотно поддерживал его, хотя, если признаться честно, я уже давно забыл о том, что у меня вообще было когда-нибудь какое-нибудь ранение. Раны наши, разумеется, давно зажили, и мы были вполне здоровы — я и мой приятель Петр Грищенко. Но что поделаешь, мы были молоды, мы не могли не похвастать тем, что уже успели пролить кровь за родную землю.

Ехали мы до места назначения что-то уж очень долго. Телеграфные столбы, мелькающие за окном, белая степь, кипяток на полустанках, домино, консервы да собственная болтовня — все это надоело до смерти, и поэтому мы страшно обрадовались, когда на шестые сутки путешествию нашему пришел конец.

Степной городок, куда мы приехали, не поразил нас ничем. Случилось это просто потому, что мы его не видели. Едва вышли на привокзальную площадь, подвернулась какая-то полуторка, которая в один час перебросила нас в городок из многочисленных деревянных бараков.

— Эх-ма! — неопределенно вздохнул Грищенко и сокрушенно свистнул, косясь на темные и угрюмые громады бараков, вокруг которых с волчьим, злым подвыванием кружила вьюга, наметая снежные курганы и косы. — Это не Ташкент, а значительно хуже... Как ты думаешь, лейтенант? — обратился он к Лобанову.

Тот промолчал. Только как-то несмело улыбнулся.

— Что, грустно? — не без ехидства осведомился у него Петр. — То-то же! Ну ладно, пошли! Авось найдем кого-нибудь. Есть же здесь хотя б одна живая душа!

Еще на вокзале мы узнали от военного коменданта, что дивизии, как таковой, пока что нет. Существует один лишь ее номер и больше ничего и никого, если не считать начальника штаба да двух работников, десятка полтора молодых солдат и вот нас троих — командиров еще не существующих рот.

Лютая стужа, по-хозяйски разгуливавшая вокруг бараков, оказалась полновластной хозяйкой и внутри: у большинства помещений не было стекол в окнах.

Мы с трудом отыскали штаб и предстали перед начальником — пожилым человеком с утомленными, неласковыми глазами. Доложив о прибытии, мы подали ему свои документы. Он молча взял их и так же молча по очереди стал «изучать» нас сердитыми глазами.

Меньше всех начальник штаба занимался Петром Грищенко: судя по всему, командир разведроты понравился подполковнику, что называется, с первого взгляда, да Петр и впрямь выглядел орлом. Несколько дольше смотрел на меня и совсем долго — на лейтенанта Лобанова. Вероятно, его щупленькая фигура не вызвала особого восторга и у подполковника.

— Вы сами пожелали командовать ротой связи? — спросил он строго, так, что Петр Грищенко шепнул мне:

— Ну, дела нашего «мальчика» плохи. Жаль парня!..

Нам действительно было жалко Лобанова: за время путешествия мы привыкли к нему; нам понравился этот застенчивый, спокойный и отзывчивый малый, ко-

торый к тому же относился к нам с искренним уважением. Сейчас мы видели, как румянец утопил веснушки на широком лице Миши — так мы звали своего спутника с той минуты, как узнали его имя, — и нетерпеливо ждали, что ответит он сердитому подполковнику, не растеряется ли... Если растеряется, тогда считай, что дела лейтенанта действительно плохи. Но Михаил ответил как-то уж очень по-будничному просто:

— Меня назначил штаб округа на эту должность, товарищ подполковник.

— А справитесь? — спросил начальник штаба. Теперь он смотрел на Лобанова уже иными глазами, нежели прежде.

— Раз мне приказано...

— Добро! — перебил его начальник штаба и улыбнулся неожиданно доброй, отечески ласковой улыбкой, как-то хорошо осветившей его морщинистое лицо, которое, должно быть, за долгие годы беспокойной службы подполковника познакомилось с южными и северными, с западными и восточными ветрами, было многократно сечено дождем, опалено зноем и стужей.

Я догадывался о причине такой резкой перемены подполковника в отношении к маленькому лейтенанту. Она заключалась, видно, в двух словах «мне приказано», произнесенных Лобановым со спокойным достоинством.

— Ну что ж, товарищи, будем работать! — сказал начальник штаба нам всем и, обращаясь уже к одному только Лобанову, добавил: — Будем командовать, товарищ лейтенант!

Мы с Петром Грищенко все же никак не могли представить себе, как станет командовать своей ротой наш новый товарищ: уж очень мало было в нем командирского! «Его и солдаты-то, пожалуй, не будут слушать», — думал Грищенко, украдкой поглядывая на



почти детское лицо Лобанова. О том же думал и я, вспоминая при этом тоненький голосок Михаила.

На следующий день в наши роты начали прибывать люди — народ довольно разношерстный и разнокалиберный. Молодые парни: колхозники, шоферы, бухгалтеры, учителя, рабочие, русские, украинцы, казахи и грузины: безусые и сорокалетние, степенные и важные, озорные и тихие, безобидные и самолюбивые, веселые и мрачноватые. Словом, разный народ. И вот всех их нужно было сделать воинами. И это поручалось нам, еще совсем юным командирам, для которых многие из них сгодились бы в отцы.

Наши подразделения размещались в соседних бараках, и это позволяло нам время от времени встречаться, присматриваться друг к другу. Не скрою, по-прежнему у нас было повышенное любопытство к Лобанову. Любопытство это, однако, вскоре сменилось удивлением: перед нами вдруг исчез прежний и явился совсем другой Лобанов. Он мог подолгу держать в положении «смирно» какого-нибудь нерадивого бойца, заставлять несколько раз подряд проползать по-пластунски одно и то же расстояние в полной выкладке, три-четыре километра бежать бегом с катушками кабеля за спиной и рыть окопы в мерзлом грунте. Несмотря на лютую стужу, его солдаты возвращались с учебного поля мокрые, вспотевшие. Даже занятия, которые у других командиров обычно проходили в казарме, Лобанов проводил в поле, в «снежном классе», как говорил он сам.

С нарушителями порядка он был строг до крайности. Особенно доставалось бойцу по фамилии Камушек. Об этом Камушке стоило бы сказать подробнее. Казалось, фамилию Камушек ему дали в насмешку: большего несоответствия фамилии внешнему облику, пожалуй, невозможно себе представить. Рядовой Камушек был длинен, тонок и неуклюж, как колодезный

журавль. Обмундирование всегда вступало в непримиримое противоречие с его комплекцией. И надо было быть лейтенантом Лобановым, чтобы в конце концов ликвидировать это противоречие. Маленький Лобанов стоял перед непомерно длинным солдатом и говорил:

— Ну что за вид, рядовой Камушек? Ну поглядите вы на себя! Разве вы боец? Разве вы связист? Объявляю вам...

Однажды два связиста, в числе которых был и Камушек, вернулись с поля обмороженными. Они прокладывали кабель по снежной целине, вели «нитку» к наблюдательному пункту командира дивизии. Лобанов раздобыл где-то решето, через которое просеивали снег, и таким образом маскировали закопанный кабель и следы связистов. Увлеченные этим новым для них делом, солдаты не заметили, как их щеки прихватил мороз. И вот теперь они ходили с обмороженными щеками. Это было хоть и не столь большое, но все же ЧП, и за него командиру роты пришлось отвечать перед комбатом. И вот тут-то Лобанов стал вновь прежним — немножко робким.

— Виноват, товарищ майор. Недоглядел.

Петр Грищенко решил «всерьез» поговорить с Лобановым. И он это сделал, когда мы остались втроем после собрания, на котором Лобанову порядочно влетело за ЧП в его роте.

— Послушай, Михаил, — начал Грищенко без лишних предисловий. — Надо все-таки больше заботиться о подчиненных.

— Я забочусь и ничего лишнего от них не требую, — спокойно возразил Лобанов и, по обыкновению, покраснел. — Но мне с этими людьми придется воевать, бить фашистов, и я...

— Ну что ты? — нетерпеливо перебил его Петр.

— Я учу их тому, что потребуется на войне.

— Видал его! — Грищенко победно взглянул на Михаила. — Нет, ты слышишь, что он говорит, а? А знаешь ли ты, что требуется на войне? — наступал торжествующий лейтенант.

— Знаю.

— Где же это? Неужели в Ташкенте ты на войну-то нагляделся? Хо!

Лобанов промолчал. И я не видел по его лицу, чтобы он обиделся на Петра.

Как-то разведчики и связисты участвовали вместе в одном учении. Во время привала Грищенко подошел к телефонисту Камушку, которому, как известно, больше всех доставалось от Лобанова, и участливо спросил:

— Ну как, брат, нелегко служить-то?

— Трудно, — признался тот чистосердечно, но потом, почесав еще не совсем зажившую щеку, вдруг добавил: — Служба всюду трудная. Нашему лейтенанту тоже нелегко. И вам нелегко.

Грищенко молчал. Вот это «нашему лейтенанту», кажется, объяснило Петру очень многое.

Потом — фронт. Наблюдая на фронтовых дорогах и перепутьях Лобанова, мы должны были отметить для себя, что и тут командир роты связи не изменил своего курса: он по-прежнему был суров и строг с подчиненными. А ранней весной 1945 года Петру Грищенко где-то в районе венгерского города Секешфехервар, — так вот, в районе этого злополучного города Петру еще раз пришлось задуматься о невзрачном с виду, но удивительном командире.

Группе разведчиков было приказано ночью проникнуть в расположение противника и захватить «языка». Задание хоть и нелегкое, но для разведчиков вполне привычное, особых тревог не вызывало. Однако Гри-

щенко почему-то решил произвести этот очередной поиск сам и лично возглавил группу. И — надо же было случиться так! — разведчики были обнаружены немцами и перехвачены.

Пришлось быстро проникнуть в какое-то каменное строение и забаррикадироваться в нем. Гитлеровцам, понятно, хотелось захватить разведчиков живыми, но это им не удалось: разведчики отстреливались из автоматов и близко к строению не подпускали. Радиостанции у Грищенко не было, стало быть, помощи ждать не приходилось. Оставалось одно: биться до последнего патрона, до последней гранаты и как можно дороже отдать свою жизнь.

И, как ни трудно было свыкнуться с этой страшной мыслью, разведчики покорились ей. И вот наступила ночь, третья по счету ночь. По одному диску на автомат, по одной гранате на бойца. Этого хватит, пожалуй, еще на один день боя. А там...

— Кто-то подползает.

— Тебе показалось.

— Нет, не показалось. Ползет...

Оцепенели в напряженном ожидании.

— Товарищ капитан! Это наш... радист к нам пробрался!

И вот разведчики жарко дышат на него, помогают трясущимися от волнения руками натянуть антенну. В этом теперь спасение. Скорее, скорее!..

Переданы координаты. Ну, а теперь можно и познакомиться.

— Как ваша фамилия, ефрейтор?

— Камушек, — коротко и спокойно отвечает тот.

Грищенко долго молчит, что-то вспоминая.

— Камушек... Камушек... Кажется, я знаю тебя, друг ты наш долгожданный. Как же ты добрался-то до нас? Ведь кругом фашисты!

— Комбат приказал, — все так же коротко и по-будничному просто отвечает боец.

* * *

День Победы разведчики и связисты отмечали вместе. Это было в маленьком и чистеньком чехословацком городке неподалеку от Праги. Мы, то есть капитан Грищенко, Герой Советского Союза капитан Лобанов и я, сидели за праздничным столом рядом. Я заметил, что мой приятель Петр Грищенко уж что-то очень пристально рассматривает мускулистую, будто литую, шею Михаила Лобанова.

— Это... когда тебя так, Миша? — наконец не выдержал Петр, показывая на глубокий шрам, чуть выглядывавший из-под воротника лобановского кителя. — Что-то я не слыхал, чтоб тебя ранило... Когда же все-таки?

Лобанов смутился:

— Давно. В июле сорок первого. Под Жмеринкой.

Грищенко и я переглянулись. Потом улыбнулись. Улыбнулись, надо сказать, самым глупейшим образом — это была единственно возможная реакция в подобной ситуации.

— Так какого же ты лешего молчал тогда в Ташкенте, когда мы...

— Когда вы меня фронтовыми историями угощали? — улыбнулся Михаил.

— Ну да!

— А вы меня не спрашивали.

Нам ничего не оставалось, как наградить маленького капитана увесистыми тумаками.

В тот день у нас был большой праздник.

ЯБЛОНЬКА

> Совершенно неожиданно заявился Коля Соколов. Две ночи были убиты начисто: припомнили весь путь, пройденный вместе. И вот что странно: о чем бы ни говорили, обязательно вспоминали яблоньку, нашу родную Зерновушку. Как-то она там? Может быть, стоит на прежнем месте. Вот бы глянуть!
>
> *Вена, Фляйшмаркт, январь 1946 г.*

В каждом солдате живет властное и нетерпеливое желание вновь побывать в тех местах, по которым провела его когда-то война. Не только живет — фронтовик непоколебимо уверен, что однажды он бросит все, пускай даже самые неотложные дела, и отправится наконец в долгий путь. Ничего, что его будут отговаривать от этого путешествия жена, дети, незаметно ставшие взрослыми, благоразумные сослуживцы и друзья; ничего, что будут пугать превратностями дорожной судьбы, — он никого не послушает, он непременно отправится!

Так думают все ветераны. И все-таки подавляющее большинство из них не исполнили этой, казалось бы, железной внутренней установки, твердя в горькое свое утешение: «Обстоятельства сильнее нас...»

Но я собрался. Я еду, радуясь и гордясь собственной решительностью и, конечно, волнуясь.

Я ехал на свидание с Зерновушкой, скромной и неказистой яблонькой-дичком, притулившейся на склоне одной безвестной балочки, каких в приволжских степях превеликое множество. Как глубокие морщины, избороздили они лик этой древней, много повидавшей, много пережившей земли. Разумеется, такой образ мог

прийти лишь теперь, когда я спокойно сижу в купе комфортабельного вагона и могу без помех размышлять, фантазировать.

В ту пору нам было не до фантазий. Фашисты прижали нас к самой Волге и не оставляли решительно никаких сомнений относительно конечной своей цели. Каждая листовка, — а они прямо сыпались с неба — хоть и безграмотными, но весьма многозначительными обещаниями говорила: «Рус, завтра — буль, буль!» Все, стало быть, ясно и понятно. Непонятным было лишь одно: почему мы, три старших лейтенанта, избрали для своего совместного блиндажа ту безвестную балочку, которая была перпендикулярна линии переднего края и простреливалась противником насквозь? Не привлекла ли нас яблонька, устлавшая к тому времени горькую землю великим числом таких же горьких, зеленых, усыпанных золотистыми веснушками плодов? Утолив ими одновременно и жажду и голод, мы — не в знак ли благодарности? — вырыли за яблоней небольшую квадратной формы яму, сделали перекрытие, назвали эту погребушку блиндажом и стали в нем жить.

Одного моего товарища звали Николаем Соколовым, другого — Василием Зебницким. Наши подразделения располагались по соседству: минометная, пулеметная и стрелковая роты; так что незачем было рыть отдельные блиндажи, вместе-то повеселее малость, к тому ж — яблонька, так-то прикипели мы к ней сердцем. После очередного боя, злые, подавленные страшными потерями, возвращались мы под вечер в нашу нору. Яблоня протягивала навстречу свои изломанные сучья, которых день ото дня становилось на ней все меньше и меньше. Мы собирали сшибленные

сучья, топили ими свою «буржуйку»; сучья разгорались не вдруг, долго шипели, из них красной живой кровью струился сок, распространяя по блиндажу горьковато-кислый, терпкий запах.

Всю ночь немцы вели в нашу сторону беглый, бесприцельный огонь. Наша яблонька стояла на взгорке, и бедняжке попадало больше всех. Разрывные пули «дум-дум», осколки мин и снарядов искромсали, искалечили ее до неузнаваемости. Однако на искромсанных ветвях еще цепко держались кое-где яблоки. Бойцы, да и мы вместе с ними, сшибали их и лакомились в редкие и отраднейшие минуты затишья. Правда, теперь раскусывали яблоко осторожно, потому что нередко на зуб попадал крохотный острый осколок.

Три месяца без малого прожили мы в том блиндаже, обстреливаемые и днем, и ночью. Вероятно, мы могли бы найти более укромное, более безопасное место для своего блиндажа и все-таки не делали этого. Нам казалось, что яблонька, которая первой принимает на себя вражеские пули и осколки, надежно защищает нас: неспроста же все мы были покамест целыми и невредимыми.

В конце ноября 1942 года мы расстались с нашей яблонькой: войска перешли в наступление. Впрочем, то была уже не яблоня, а жалкое ее подобие, огрызок, знобко вздрагивающий и стенающий на остуженном ветру. Не помню подробностей прощания. Помню только, что в кармане Василия Зебницкого, самого чувствительного из нас, много дней спустя обнаружилось яблоко — с нее, с нашей Зерновушки, как прозвали мы свою безмолвную и безропотную защитницу.

И вот теперь, спустя двадцать с лишним лет, я ехал на свидание именно с ней, нашей Зерновушкой. У меня не было уверенности, что увижу ее на том месте. И все-таки, выйдя к берегу Волги возле балки

Купоросная, и стал быстро подниматься по ней вверх. Справа и слева ее обступали дома, высокие, нарядные, которых, разумеется, раньше не было. Все это радовало глаз и душу. И вместе с тем было отчего-то немного грустно. Отчего же?

Не оттого ли, что все меньше и меньше оставалось надежды на встречу с моей яблонькой? Новая жизнь бушевала вокруг, стирая беспощадно следы минувшего. Где же тут уцелеть Зерновушке? А может, она погибла тогда же, двадцать лет назад, и теперь на том месте выросло новое селение?

Я, однако, упрямо шел.

Вот одна, другая дочерние балочки сбежали в балку Купоросная. Я ждал пятую по счету. Там, наверху, у ее начала, и стояла наша Зерновушка, там и был наш КП, наша нора. Дома остановились у третьей поперечной балочки. Дальше пошел пустырь. И вот она — пятая. С бьющимся сердцем подымаюсь выше, выше.

Стоит!

Да, да, стоит на том самом месте. И в отличие от меня, кажется, нисколько не постарела. Сучья новые, молодые, просторно разбросаны в разные стороны. Только внизу, у самого комля, чуть видны были ее зарубцевавшиеся раны, тугими узлами вспухли они на грубой коре.

Жива, милая!

Быстро разгребаю снег в небольшой яме под деревом, — это все, что осталось от нашего блиндажа. И на дне этой ямы обнаруживаю что-то круглое, холодное.

Яблоки!

Зубы ломит — студеные, жесткие. И вместе с тем упоительно-сладкие. Я собрал их, набил ими карманы, снял шапку и в нее насыпал. И с этим-то драгоценным грузом — уже не по балке, а прямо степью, через гору — медленно пошел к Волге.

Далеко внизу, вытянувшись вдоль великой реки чуть ли не на сотню километров, виднелся город, прекраснее которого нет на всем белом свете.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ИЛОНКА!

Советский парламентер, мадьярская девочка Илонка и бабушка Эржебет. Трогательная история!

Декабрь, 1956 г.

На северо-восточной окраине Будапешта, у перекрестка трех дорог, стоит небольшой памятник — бронзовая статуя советского офицера, держащего в поднятой руке флаг. Нельзя было понять, какого он цвета. Но если бы ваятелю пришло в голову сделать цветную скульптуру, флаг оказался бы не красным, к которому мы все так привыкли и с которым давно породнилось наше сердце, а белым. Офицер был советским парламентером, а парламентеру полагается идти в неприятельский стан с белым флагом.

И он шел, этот советский юноша-офицер. Шел в направлении немецкого переднего края, высоко и гордо подняв голову. Там, за передним краем, в синей дымке утра проступали очертания огромного древнего города, в котором, оцепенев, жались по подвалам, по бункерам миллионы мирных жителей. Нужно было спасти их от гибели.

Нужно было сберечь памятники вековой культуры, сохранить бесценные сокровища, накопленные городом на протяжении столетий. Вот для чего рукам, привыкшим сжимать древко с алым стягом, пришлось взять белый флаг.

Что еще может быть гуманнее этого?!

Однако гуманизм и фашизм — понятия, исключающие одно другое.

Гитлеровцы встретили советского парламентера пулеметным огнем. Так, под стенами Будапешта, у самого порога Великой Победы, оборвалась еще одна и без того короткая жизнь.

...Я смотрю на снимок. Он сделан в момент открытия памятника советскому парламентеру. На нем запечатлены венгерские крестьяне, пришедшие почтить память советского воина. Для этого многим из них пришлось пройти десятки километров. А бабушка Эржебет прошла со своей внучкой Илонкой ни мало ни много сто верст.

— Почему же бабушка Эржебет не воспользовалась транспортом? — помнится, спросил я «толмача», веселого паренька в шляпе, в непостижимо короткий срок научившегося бойко говорить по-русски.

— К святым местам люди ходят только пешком, — твердо и даже немного сердито ответила старая Эржебет.

Все вокруг заулыбались, заговорили, но тут же смолкли под строгим и укоряющим взглядом пожилой крестьянки. У бабушки Эржебет, оказывается, были веские основания называть памятник советскому воину святым...

В январе 1945 года, когда война докатилась до их небольшого селения, старая Эржебет взяла семилетнюю Илонку за руку и повела в бункер с твердым намерением: пока идут здесь боевые действия, пересидеть в безопасном месте. Честно говоря, она, как и большинство ее односельчан, побаивалась русских: уж больно страшные вещи говорили о них по радио.

Советские войска вошли в село ночью.

Бабушка Эржебет не сомкнула глаз. Все прислушивалась к тому, что творилось там, наверху.



А наверху шла пулеметная и автоматная стрельба. Изредка до уха Эржебет докатывалось глухое и непонятное «ура», прерываемое пулеметной очередью или разрывом снаряда. Бабушка укрывала Илонку поплотнее, чтобы та не могла слышать стрельбы: пусть война пройдет мимо ее детского сердца. Так будет лучше.

Утром над селом появились немецкие самолеты. Эржебет поняла это по надрывному, прерывающемуся стону моторов. А уже через минуту земля заходила ходуном: где-то совсем близко стали рваться бомбы.

Илонка проснулась и заплакала. Бабушка инстинктивно прикрыла ее своим телом. Страшный удар грома обрушился на бункер, потолок рухнул, посыпались земля, камни, бревно больно надавило на спину. Эржебет попыталась высвободиться, но с ужасом обнаружила, что не может этого сделать, что она заживо погребена вместе с внучкой.

Не то от ушибов, не то от страха бабушка Эржебет потеряла сознание и уже не слышала плача Илонки. Очнулась она от ослепительно яркого света, хлынувшего в бункер. И первое, что увидела, — рафинадно-белые зубы улыбающегося русского солдата.

— Жива, бабуся? — спрашивал он ее, наклоняясь, чтобы помочь ей и внучке выйти из бункера.

И как это часто бывает с людьми в минуту смертельной опасности, бабушка Эржебет не сразу поняла, что этому улыбающемуся, добродушному человеку она и ее внучка обязаны своей жизнью, что он спас их. Сознание всего этого пришло потом, а вместе с ним пришла и любовь, которую уж никому и никогда не удастся погасить в сердце крестьянки.

Воин, спасший жизнь Эржебет и Илонки, был вовсе не солдат, а офицер. Веселый, добрый, маленького роста, и Илонка, которая с того дня крепко привязалась к нему, звала его по-своему: «Кичи капитан», то

есть «маленький капитан». Фронт на две недели задержался недалеко от села, и капитан Песков часто наведывался к бабушке Эржебет и Илонке. Завидя его, Илонка радостно взвизгивала:

— Кичи капитан! — И, подпрыгнув, повисала у него на шее.

— Здравствуй, Илонка!

— Здравствуй, кичи капитан!

А Эржебет, подперев голову ладонью, любовалась ими издали, время от времени смахивая со щеки слезу.

Так вот и крепла эта дружба.

А потом пришла недобрая весть: капитан Песков погиб.

Горько плакала Илонка, опечалилась бабушка Эржебет.

А когда год спустя они прослышали, что в предместье Будапешта состоится открытие памятника советскому парламентеру, решили отправиться туда пешком. Бабушка почему-то была уверена, что этим парламентером непременно окажется их «кичи капитан».

Так я и познакомился с бабушкой Эржебет и ее внучкой Илонкой, от которых узнал много подробностей о жизни и боевых делах незнакомого мне капитана, о его смерти.

Вот смотрю я на этот снимок и думаю: где теперь бабушка Эржебет, жива ли? Ведь уже много лет прошло с той поры, как мы с ней познакомились. Где Илонка?.. Сейчас ей восемнадцать лет, а тогда было семь. Помнишь ли ты, Илонка, своего «кичи капитана»? Помнишь ли его сильные руки, вызволившие тебя из темного подземелья, те самые руки, которые потом так часто гладили твою белокурую головку?.. Неужели забыла?..

Конечно, не забыла, не должна забыть!

Друзья познаются в беде, Илонка.

Разве найдется в мире такая сила, которая заставит тебя забыть об этом?!

В добрый путь, Илонка!

ПАРЕНЬ С КРАСНОЙ ПРЕСНИ

Ехал в трамвае. Красная Пресня. Старик, рассказывающий внуку о баррикадах. Я же вспомнил об Алеше Грунине. Надо бы написать о нем.

17 декабря 1959 г.

1

Трамвай номер шестнадцать медленно пробирался по улицам Красной Пресни, подолгу простаивая у светофоров. Вагон был переполнен. Людской прилив явно преобладал над отливом, как всегда в часы «пик». Чаще и громче обычного звучал голос неутомимого кондуктора:

— Граждане, проходите вперед. Там свободно!

Но граждане не спешили проходить. Особенно тесно было в середине вагона. И сначала было непонятно, отчего же пассажиры, которым заслонили выход к передней двери, не выражали своего недовольства, не спрашивали строго и беспокойно: «Вы на следующей выходите?» Думается, многие даже вовсе забыли, что их остановка давно уже позади и что им придется возвращаться на другом трамвае.

Что же случилось?

Вслушиваюсь в сдержанный гул, сквозь который прорывались, перебивая друг друга, два голоса: пер-

вый — густой, малость надтреснутый; второй — звонкий, задиристый, чуть самодовольный:

— ...Ишь ты какой! Это хорошо, что ты в книжке про все это читаешь. А вот показать те самые места не можешь...

— А вот и могу! Да ты и сам, дедуня, показывал, помнишь? Мы же с тобой всю Красную Пресню тогда исходили. Помнишь? Да во-о-он, видишь, домик... старый-престарый. Там еще баррикады были. И ты туда стулья из вашего дома таскал. Бабуня говорила, хорошие стулья, венские...

— Какие там венские! Старье одно... Да не в том суть! Все тогда таскали — кто стулья, кто столы, кто что... Кум Иван, помнится, шкаф приволок, откуда только сила взялась! — Старик закашлялся от смеха. Потом резко оборвал смех, помолчал немного и начал, заметно волнуясь: — Сколько мы этих юнкеров уложили тогда, не сосчитать. Да и нашему брату, рабочему, досталось... Вот она, Красная наша Пресня, обновилась. Площадь-то сейчас цветами да разными травами нарядными засеяна. А в ту пору нашей кровью разукрасилась. Ведь тут, внучок, штабелями были навалены трупы рабочих. Ох же реву бабьего было — до сих пор в ушах стоит. Нас-то, захваченных живьем, в манеже заперли и держали там... — Старик снова умолк, потом оживился, взглянул в окно, весь как-то просиял и закончил: — Только не пропала рабочая кровь даром: научились на горьком опыте, как нужно с царем разговор иметь. В семнадцатом мы ему все припомнили: и Красную Пресню, и все!.. Царь и вся его проклятая фамилия давно в уральской земле сгнили. А я вот живой. И вся власть моя! — Старик вытянул крупные свои, все в узлах, руки, как бы показывая, что из этих крепких рук нелегко отнять власть.

Трамвай двигался дальше. Слева медленно про-

плыли величественные линии высотного дома на площади Восстания, впереди показалась станция метро «Краснопресненская». Пассажиры нехотя уходили от того места, где сидели старый рабочий и его внук — законный наследник великих завоеваний своего деда. И этот маленький эпизод в трамвае показался мне исполненным глубочайшего смысла. В памяти моей тотчас же всплыла история одного юноши-фронтовика, моего однополчанина. Мне хотелось протиснуться к старику и рассказать ему о своем однополчанине, почему-то казалось, что старый рабочий должен знать его, — ведь тот паренек тоже был с Красной Пресни. Но я не успел этого сделать: старик с внуком вышли из трамвая...

2

Известно, что и хорошие люди неодинаковы. Иного определишь, что называется, с первого взгляда: весь он светится, словно бы внутри такого человека горит яркая лампочка и мягкий свет ее струится через широко открытые, откровенно добрые глаза. Эти глаза всегда смотрят прямо перед собой, потому что им незачем прятаться от людей...

Вот таким и остался навсегда в моей памяти Алеша Грунин, парторг нашей роты, или, как мы все его звали, «парень с Красной Пресни».

Парторгом Алеша, разумеется, стал не сразу. Этому предшествовало немало событий в его жизни, событий таких, о которых невозможно поведать в коротеньком рассказе.

Первое свое боевое крещение Алеша Грунин получил в донских степях памятным летом 1942 года. И когда его спрашивали, как это случилось, Грунин улыбался, смотрел сначала на командира пер-

вого расчета сержанта Улыбина, потом на меня и говорил смущенно:

— Какой же это бой?.. Разве это можно назвать боем?..

— А сказывают, ты из миномета самолет тогда сковырнул? — подзуживали его ребята. — Поделись своим опытом, Алеша!

— Сказки сказывают, — сердился Грунин. — А сказки только для детей дошкольного возраста годятся, они не для солдата.

— Вот это ты уж зря! Я бы, например, хорошую сказку и сейчас послушал!

— Так ты обратись к Улыбину. Это по его части, — советовал Алеша. — Он, говорят, учителем в школе работал.

Я видел, что Алеше Грунину изо всех сил хочется перевести разговор на другую тему, и понимал почему. Рядом с ним, по правую руку, сидел сержант Улыбин, лучший друг Алеши Грунина. Расскажи Алеша всю правду о первом боевом крещении, выявились бы кое-какие подробности, не совсем лестные для Улыбина. А ведь кто старое помянет, тому глаз вон. И Алеша молчал.

...Дивизия по приказу командующего отходила от Дона в сторону Волги. Горькое то было время. Степь, подожженная со всех сторон, чадила в небо удушливой гарью. Жара стояла невыносимая. Над головой — неумолчный постылый вой чужих моторов.

Ночного форсированного марша оказалось недостаточно, чтобы достичь назначенного пункта. Колонны продолжали продвигаться днем, сопровождаемые неуклюжими «рамами» («Фокке-Вульф-189»), все время висевшими над нами. Только двинешься вперед, чей-то истошный голос: «Воздух!» Врассыпную бежим в бурьян и лежим там вниз лицом, задыхаясь полын-

ной горечью. По спине гуляют мурашки от грохота рвущихся где-то совсем рядом вражеских бомб и от шепелявой болтовни осколков, шарящих в бурьяне. Продолжается это всякий раз минут пять, самое большее десять, но не этим ли десяти минутам многие двадцатилетние обязаны первой изморозью на своих висках?

Грунин и Улыбин были тогда в одном расчете. Как только на горизонте появились «юнкерсы», друзья схватили из повозки свой миномет и побежали в бурьян. И вот тут-то между ними произошла первая и последняя стычка.

— Знаешь что, Иван, мне... понимаешь, мне надоело все это!.. — задыхаясь от ярости, почти в самое ухо Улыбину вдруг закричал Алеша. — Давай стрелять!

— Да ты с ума сошел! — встревожился Улыбин. — Из чего ты в них будешь стрелять?.. Из миномета, что ли?

— Из миномета! Из чего угодно, но лишь бы стрелять! — Грунин с силой рванул из рук товарища миномет, врезал в сухую землю двуногу-лафет. — Подавай мины, слышишь?!

Затем, быстро убедившись в нелепости этого предприятия, швырнул миномет в сторону, выхватил из-за плеча карабин, лег на спину и стал целиться в первый «юнкерс», который уже опрокинулся на одно крыло, чтобы низвергнуться в пике. Выстрелил раз, другой. И только потом услышал умоляющий голос Улыбина:

— Алеша, дорогой, не надо! Ведь не собьешь, а только выдашь нас... Заметят!

И вся боль, которая скопилась в груди Алексея за эти горькие дни отступления, вдруг выплеснулась на оробевшего товарища:

— З-з-замолчи!.. — В светлых, до этого всегда ясных и добрых глазах Алексея сейчас отразилась



такая мука, что Улыбину стало жутко. Он забыл и про самолеты, и про свой собственный страх, и даже про боль в плече — осколок бомбы приласкался-таки к бойцу. Улыбин кинулся к другу, обнял его, лихорадочно твердя:

— Алеша! Алеша!..

— Ах, отстань ты! Не до тебя!

А спустя много дней, когда они, накрывшись одной плащ-палаткой, курили в своем окопе, Улыбин сказал:

— Лучше бы ты, Алексей, прикончил меня тогда. Ведь ты никогда не забудешь про мою трусость там, в бурьянах. А это, знаешь, невыносимо тяжело...

— Чудак ты, Иван. Больше ничего. Ты до того раза был в бою? Нет. То-то, брат, и оно.

— Но ведь и ты не был.

— Сейчас не обо мне речь, — перебил Грунин. — Вот послушай, что я тебе скажу. Если бы я не верил в тебя, может, и того... расстались бы мы с тобой. А я верил. И что же? Разве я не прав? Чей расчет вчера больше всего фашистов уложил? Наш, первый. А кто наводил? Наводчик. А кто был этим наводчиком? Иван Улыбин — вот кто! Так что ты помалкивай и забудь о прошлом. А что касается меня, то я давно позабыл!

Улыбин в темноте отыскал теплую руку товарища и сжал ее в своей ладони.

3

Возле станции Абганерово в течение одиннадцати суток дивизия сдерживала натиск гитлеровцев. Не одиннадцать дней, а именно одиннадцать суток: бои не прекращались и ночью. А на двенадцатые сутки, под вечер, пришел приказ: как только смеркнется, выходить, оставив прикрытие, — вражеские войска про-

рвались на флангах, дивизия оказалась в окружении.

Два эти слова — «оставив прикрытие», прозвучавшие так обыкновенно и буднично, заключают в себе самый драматический момент нашего маленького повествования.

Вызывает к себе на НП командир полка. Я знаю, зачем, хотя связной и не говорил мне об этом. Остроглазый, сухощавый грузин, подполковник Чхиквадзе так же буднично сдержан, как и его слова, брошенные мне навстречу:

— От твоей роты — один расчет!

— Есть!

— Выполняйте.

Прижимаю к бокам полевую сумку и пистолетную кобуру, бегом возвращаюсь на свои огневые позиции. Надо мной в темнеющем небе невидимые паучки-пули тянут в разные стороны светящиеся нити. Где-то озабоченно токует «максим», зло тявкает «сорокапятка», в ответ — рев немецкого шестиствольного...

— Приказано оставить для прикрытия один расчет, — говорю я, стараясь подражать подполковнику в сдержанности, но чувствую, что у меня это получается хуже. Судорожно сжимаю ремни снаряжения — так лучше, руки не дрожат. Спешу скорее сказать главное: — Кто хочет остаться?

— Разрешите мне!

— Разрешите мне!

— Разрешите...

Это — голоса всех командиров. Однако надо поступить справедливо — останется тот, кто сказал первым. Кто же? Ну конечно, Улыбин. Вот он подходит ко мне, за ним его наводчик Алексей Грунин. В своих должностях они поднялись на ступеньку выше: первый — от наводчика до командира, второй — от заряжающего

до наводчика. Ну что ж, так и быть, оставайтесь вы, ребята!

Вглядываюсь в их лица — в темноте видно плохо. А мне почему-то хочется обязательно увидеть. Вчера обоим этим хлопцам начальник политотдела вручал партийные билеты. Происходило это прямо на огневых позициях, в балке.

— Завтра у нас, по-видимому, будет жаркий бой, — сказал начподив. — Устоите?

Он посмотрел на Алексея. Тот ответил:

— Я с Красной Пресни, товарищ полковник.

Грунин глядел в усталое лицо начподива своими ясными, широко открытыми глазами. И начальник сказал:

— Добро.

Все это я сейчас вспомнил и, крепко пожав солдатам руки, сказал то, что, очевидно, сказали своим подчиненным, остающимся здесь, и командир стрелковой роты, и командир пулеметчиков, и артиллерийский командир... Я сказал:

— Желаю вам успеха, товарищи. До встречи!

И мы ушли. А они остались.

4

Прикрытие держалось всю ночь и весь следующий день. Не буду описывать этот беспримерный бой. Немного требуется воображения, чтобы понять, как велика была мера мужества наших бойцов. Оставшиеся в живых — а таких было не так уж много! — могли теперь отходить вслед за основными силами дивизии.

Легко сказать — отходить!

А как это сделают Грунин и Улыбин? Уже под самый вечер Улыбин получил второе, и притом тяжелое,

ранение — ему раздробило коленную чашечку правой ноги.

В который раз уже он просит товарища:

— Алеша... оставь меня, а сам иди. Какой толк погибать обоим?.. Слышишь, Алексей?

— Не слышу. И слушать не буду! Ты за кого же меня принимаешь?

— Но... Алеша.

— Замолчи, Иван! Ты вот лучше погляди, какую я для тебя коляску соорудил. Как хорошо, что наш миномет на колесах! Ведь это же последняя конструкция. А ну-ка, давай... вот так... Удобно? Ну вот, а ты, дуралей, бормочешь.

Он вез товарища всю ночь, ориентируясь по вспышкам немецких ракет, стараясь идти туда, откуда взлетали эти ракеты. Рассвет застал их в балке, в районе совхоза Зеты, и тут оказалось, что из окружения они еще не вышли. Самое же страшное состояло в том, что гитлеровцы обнаружили минометчиков. Пришлось укрыться в отроге балки и обороняться. Мин не было — вся надежда на автоматы.

Фашисты предприняли две или три вылазки, надеясь, очевидно, захватить русских живыми. Но минометчики яростно отстреливались. Тогда противник открыл минометный огонь. С короткими перерывами он вел его до самой ночи, а потом почему-то прекратил. Может быть, решил, что советские солдаты убиты, ведь они уже не стреляли: у Грунина и Улыбина не оставалось ни единого патрона. Одни гранаты, но это уже на крайний случай.

— Ну что ж, Иван, двинулись, — губы, потрескавшиеся, в крови, шевелились с трудом. — Пошли, друже... Сейчас я подам тебе твой экипаж.

Но тут Алексею Грунину пришлось сделать, может быть, самое печальное открытие в своей жизни: разо-

рвавшейся поблизости миной их миномет был разбит вдребезги.

— Коляска наша попорчена, Ваня. Придется обойтись без нее.

— Уж не думешь ли ты пронести меня на себе эти двадцать километров?

— Думаю. И не двадцать, а двадцать пять. Да хотя бы сто!

Через несколько дней они появились в боевом охранении полка. Трудно было признать в этих постаревших людях двадцатилетних ребят. Правда, глаза у них были все те же: черные, горячие — Улыбина и светлые, смотрящие, как всегда, прямо перед собой — Алексея Грунина.

И когда, удивляясь и радуясь, бойцы спросили Грунина, как же он мог донести на себе товарища, он тоже спросил:

— А разве вы на моем месте не сделали бы то же самое? — потом подумал и добавил: — К тому же... к тому же, — он постучал себя по левой стороне груди, — тут у меня партийный билет.

* * *

С той поры прошло уже немало лет. Но когда мне случается проезжать по Красной Пресне, я всегда вспоминаю светлоглазого паренька. Где он сейчас?! На Дальнем Востоке или на западе, на Крайнем Севере или на юге, — не знаю. После войны его послали учиться в военное училище. Сейчас он где-то командует батальоном, а может быть, уже и полком. Но где бы он ни был, он верно стоит на своем посту. Это я знаю определенно.

И все же до сих пор жалею, что не рассказал эту историю старому рабочему и его внуку в трамвае. Может, они знают про Алешу. Должны знать! Ведь судьба Алексея Грунина есть продолжение большой и славной судьбы старого большевика с Красной Пресни.

1963—1964 гг.





НЕ ПОМЕРКНЕТ НИКОГДА

ТЕТРАДЬ, НАЧАТАЯ ПОД СТАЛИНГРАДОМ



Как видим, «Биография моего блокнота» составилась из коротких, беглых записей, сделанных на войне, после войны и затем с помощью памяти как бы расшифрованных.

Теперь в моих архивах отыскалась тетрадь, о которой я помнил, что она должна быть, но так же затерялась, как и многие другие мои блокноты и записные книжки. Однако ж вот нашлась, что наводит меня на обнадеживающую мысль, что со временем отыщутся и другие.



На второй обложке тетради помещен календарь на 1942 год. Шрифт готический. Из чего нетрудно заключить, что подобрал я эту тетрадь где-нибудь в немецком блиндаже или, что всего вероятнее, позаимствовал у пленного гитлеровца. Далее — с первой и до последней страницы — все по-русски. Мои, стало быть, строки. Я мог бы попытаться их так же расшифровать, как поступил в помянутом выше случае, но что-то меня остановило. Может быть, не захотелось

эксплуатировать прием, однажды уже использованный. Может быть, решил: не лучше ли дать дневниковую запись так, как она есть в тетради, и ничего к ней не прибавлять теперь без крайней необходимости, — не почуется ли в этой непосредственной записи более явственно грозное и жестокое дыхание далеких уже теперь и неповторимых дней и лет.

Ну вот, пожалуй, и все, что хотелось сказать перед тем, как перейти к тетрадке, оказавшейся в моих руках где-то в донских степях грозным летом 1942 года.

1942 год

12 августа.

Спешно снялись с Аксая и переброшены в район Зеты. Затем три дня отдыхали. Приводили в порядок себя и материальную часть, подводили итоги прошедших боев. Нашу полковую минометную роту бог еще милует: ни единой потери. Где-то недалеко глухо рокочет артиллерия.

14 августа.

Возле небольшой речушки, носящей пышное, монаршее название Донская Царица, у небольшого блиндажа, заседало партбюро полка и партийная комиссия во главе со старшим политруком Ионовым, человеком очень душевным и умным. Первым разбиралось заявление командира минометного взвода полковой минометной роты младшего лейтенанта Григория Матуашвили.

Ионов посмотрел на него, спросил:

— Как воюешь, товарищ Матуашвили?

Матуашвили покраснел:

— Воюю... — и умолк.

Пришлось прийти ему на помощь.

— Хорошо воюет, — сказал я.

Более ни о чем не спрашивали: приняли кандидатом единогласно. В бой Гриша пойдет уже коммунистом.

19 августа.

На рассвете — опять бой. А до рассвета осталось всего несколько часов. Я не знаю, успею ли рассказать обо всем, что было в эту ночь перед боем. В отличие от мирной степной ночи, эта была полна тревожной жизни, сплошного движения. Не слышно обычного в такую пору перепелиного клика: «спать пора, спать пора»; не пролетит неслышно мохнатая сова; не завоет, не затявкает зверь; не промчится мимо шальной заяц. Все эти степные обитатели перепуганы, убежали в дальние места и, наверное, где-то безмолвно ропщут и плачут о своей степи...

Минометчики по двое, по трое на подпаленной солнцем, хрустящей, пыльной траве. Тихо разговаривают. На пылающем горизонте отчетливо вырисовываются их силуэты. Прислушиваюсь. Никто не говорит о завтрашнем дне, хотя и видно, что каждый всем существом в нем.

Стараясь отпугнуть мысли о предстоящем бое, погружаемся в воспоминания.

Вспомнил своего брата Алексея. Брат уезжал на фронт. Это было 25 июня 1942 года. Солнечный украинский день. Брат взял на руки годовалого сына — тоже Алексея. Тот ручонками своими обвил шею отца. Губы брата задрожали:

— Сынок... прощай, сынок...

Осторожно передал сына жене, а сам отвернулся, чтобы никто не увидел его слез.

Я стоял рядом и не мог ничего сказать: горло перехватили спазмы. Только и смог вымолвить:

— Леня... бей их!..

А он, высокий, широкоплечий, с веселыми серыми глазами и развевающимися на ветру белыми кудрями, подходит ко мне, обнимает.

Теперь я пытаюсь мысленно представить своего брата в бою. Где ты, Алексей? Почему так долго не пишешь?

Мысли мои прерывают лейтенанты Хальфин Усман и Зотов Дмитрий. Их обоих я недавно рекомендовал в партию.

— Расскажи нам что-нибудь, товарищ политрук.

Я пересказал им случай из партизанской жизни, о котором узнал из центральной газеты. В ней рассказывалось про девушку по имени Таня, которая, будучи пойманной немцами, не выдала партизан, а потом погибла от рук немецких палачей. Три дня висел ее труп. Затем фашисты сняли ее с виселицы, отрезали груди, распороли живот и бросили в канаву.

Мои товарищи долго молчали. Потом как-то сразу все заговорили о своих любимых. И опять — ни слова о предстоящем бое. Но мы, конечно, в душе-то думали, что вот через несколько часов, быть может, кого-то из нас не станет, кто-то из нас, возможно, упадет с простреленной грудью на колючую, горькую от полыни степь, кому-то из нас, может быть, уж никогда более не доведется увидеть любимую, родных, чей-то незрячий взор устремится в пустую даль, туда, на запад, откуда из страшной враждебной страны пришла к нему смерть...

Каждый, похоже, думал про то, но никто не высказывал вслух. Зачем?

Лейтенант Зотов рассказал, как он приходил в от-

пуск домой из госпиталя, после ранения, и его не узнала родная мать.

Мы еще долго молча сидели, думая каждый о своем, в ту тревожную августовскую ночь. Потом я встал и пошел к бойцам. Все они старательно чистили минометы, карабины, делая это на ощупь, в темноте.

— В чем дело? Кто приказал вам чистить оружие? — спросил я.

Бойцы молчали.

— Я вас спрашиваю.

Поднялся старший сержант Василий Зайцев. Ему сорок три года, но выглядел он очень молодо. Коренаст, крепок, выправка георгиевского кавалера. Я знал, что дома, в Казахстане, он оставил жену и шестерых детей.

— Товарищ политрук, — начал он, — как же это понимать: кто приказал чистить?.. Ведь такой бой завтра, разве можно иначе...

— Да, но минометы были почищены еще днем, — сказал я.

— Оно-то так, верно... вычищено... но лишний раз, я полагаю, не мешает...

— Значит, это ты придумал?

Зайцев не ответил.

— Ладно. Продолжайте.

Невольно вспомнилось лермонтовское: «Кто кивер чистил весь избитый»...

Мимо нас не прошла, а промелькнула энергичная стройная фигура. По резким жестам и по акценту я узнал в ней командира полка. Майор Чхиквадзе только что приехал от командира дивизии.

Вскоре мы двинулись. Моя рота шла вместе со штабом полка. До рассвета еще полк должен занять исходные позиции, те самые, где я сейчас, накрывшись плащпалаткой и подсвечивая себе фонариком, записываю

эти строчки в тетрадь. Утром, сблизившись с противником, мы должны будем остановить его в районе станции Абганерово.

Ночь темная, безлунная. И если бы не зарево пожаров, движение войск было бы почти невозможным. Но темная ночь позволяла подойти к неприятелю незамеченными, скрытно.

Шли без всяких привалов. Иногда мне казалось, что бойцов моих нет рядом с повозками, что они потерялись во мраке. Но там, на немецкой стороне, взлетала ракета, и я вновь видел поблескивающие каски минометчиков. Они шли и шли, безмолвные и черные от пыли.

Майор шагал со своим адъютантом Женей Смирновым. Интересно, что должен был думать в такую минуту человек, в руках которого оказалось столько человеческих судеб?

Вскоре к Чхиквадзе подошел комиссар полка Горшков.

— Ну, как, комиссар, не опоздаем?

— Не должны бы... — не совсем уверенно ответил тот.

Майор тихо засмеялся.

— Не должны — это верно. А вот если опоздаем...

Лицо его стало снова серьезным:

— Ты знаешь, Коля, что будет, если мы опоздаем?..

— Знаю, — глухо ответил Горшков.

Больше они уже не говорили. Мне было странно, что нашего комиссара кто-то может называть так просто — Коля.

Вспышки ракет были все ближе и ближе.

Полк достиг исходного рубежа. В балках устанавливались минометы. Трактора, автомашины, повозки уходили в укрытия.

Убедившись в том, что рота наша полностью изготовилась, я расстегнул планшетку и вытащил потрепанную тетрадь.

30 августа.

Вечером вырвались из окружения. Остатки дивизии собираются в саду Лапшина, в районе Бекетовки, километрах в пятнадцати южнее Сталинграда. Измученный до крайней степени, я все-таки попытаюсь сейчас хотя бы бегло рассказать о том, что было с нами за прошедшие десять дней.

На рассвете 20 августа наши начали артподготовку. Степь содрогнулась от грохота. До этого я слышал о «катюшах», но никогда не видел их в действии. И потому, когда позади нас что-то с чудовищным скрежетом зашипело, я невольно втянул голову в плечи. Догадавшись о том, что это значило, я оглянулся и был потрясен величественным и грозным зрелищем. Было такое впечатление, будто несколько степных китов выплыли из мрака, выстроились в ряд и стали одновременно выпускать в небо огненные фонтаны. Когда эти чудища перестали шипеть, степь огласилась восторженными криками моих минометчиков:

— «Катька»! «Катюша»! Давай, милая! Давай, жги фрицев!

Потом не менее страшное зрелище поразило нас: на добрых полкилометра в ширину, над всем совхозом Юрково, что под Абганерово, заплясали огненные смерчи, и, казалось, сам поселок подскакивал в бешеной, безумной пляске.

Это рвались снаряды «катюш». Вероятно, точнее их было бы называть минами. Наивные, мы думали, что там, где рвались эти снаряды и где все пространство окинулось огнем, не останется ни одной живой души.

То, что мы, минометчики, укрывшиеся в балке, так подумали, — это еще полбеды. Хуже, что так же, видать, думали и пехотинцы. Они сближались с противником не короткими, как полагается, перебежками, а в полный рост, стараясь как можно быстрее достигнуть вражеского рубежа. И верно, в горьком удивлении падали, сраженные яростным огнем гитлеровцев. Повсюду был слышен сплошной лай автоматического оружия. Над нашими позициями тотчас же появилась «рама». Сделала несколько кругов, сбросила четыре бомбы и улетела. Через несколько минут около двадцати немецких пикировщиков висели над нами. Они пикировали почти до самой земли, бросали сразу по десятку бомб и уходили вверх, чтобы вновь и вновь, включив сирену, спикировать на нас.

За поселком Юрково что-то два раза противно скрипнуло, точно два огромных листа железа потерли друг о друга, и в боевых порядках залегшей, наконец, нашей пехоты стали рваться мины страшной разрушительной силы. Это заговорил немецкий шестиствольный миномет, или «дурила», как назвали его позже красноармейцы.

Майор Чхиквадзе стоял на возвышенности и только на короткое время отрывался от бинокля, чтобы сделать новое распоряжение. Рядом с ним были телефоны. От них в разные стороны расползались шнуры.

— Рыков? — спрашивал майор командира первого батальона. — Докладывай обстановку... Что?.. Залегли?.. Что, что? Фриц огнем поливает?.. А ты что, думал, он тебя одеколоном будет поливать?.. Подымай бойцов!.. В контратаку?.. Отбили?.. Так!.. Даю тебе еще минометчиков.

«Контратака», «отбили» — только два слова. А что там было?!

Непрекращающийся ливень огня, бесконечная бом-

бежка с воздуха понудили наши подразделения залечь прямо на открытой местности, где нет ни кустика, ни бугорка. И в это время поднялись шеренги — в черных мундирах со скрещенными костями на рукавах.

Наши бойцы лежали. Ближе, ближе неприятельские цепи. Уже отчетливо были видны пьяные рожи эсэсовцев.

— Огонь! — прокатилось по нашим рядам.

Первые цепи фашистов были наполовину скошены. За ними шли другие.

...Моя рота получила приказ выйти на поддержку 1-му батальону. Предстояло преодолеть полосу массированного минометно-артиллерийского огня, которую создал противник, стремясь не допустить к нашим подразделениям подкрепления и повозки с боеприпасами.

Решили двигаться порасчетно, из балки в балку, открытые места преодолевать бегом с минометами.

Первый расчет начал движение. Как только прогрохотали разрывы, бойцы побежали вперед, не дожидаясь, когда рассеется дым. Этот маневр удался.

Через несколько минут расчеты благополучно достигли намеченных позиций.

Вскоре рота вела уже огонь.

К ночи бой утих. Слышалась только редкая ружейная перестрелка.

Мы лежали в пологой балке, прямо под открытым небом, с заместителем командира роты лейтенантом Гайдуком. Было тепло, и, натянув поплотнее каску, я собирался уже заснуть. Но Гайдук не давал. Вздумалось ему, дьяволу, рассказать вчерашний свой сон — сон перед нынешним боем. Теперь я постараюсь припомнить его рассказ. Иначе никто уже никогда не узнает, что снилось нашему милому Гайдуку в ту ночь.

Видел же он во сне жену и даже, уверял он, слышал ее голос.



Будто склонилась она над зыбкой и тихо так поет сыну:

Спи, мой крошка, спи, прекрасный,
баюшки-баю.
Уж не светит месяц ясный
в колыбель твою.

Гайдук будто бы широко открыл глаза, поглядел на прикорнувших рядом своих бойцов, потом снова заснул, и снова возник мягкий голос жены:

Стану сказывать я сказки
про отца в бою.
Ты ж дремли, закрывши глазки,
баюшки-баю.

Гайдук проснулся, быстро вскочил на ноги, несколько раз моргнул. «Фу-ты, вот диковина!»

И тут только догадался: то был не голос жены, а надрывный, прерывающийся звук ночного бомбардировщика где-то в беззвездной вышине.

А на другой день, 21 августа, он погиб.

Случилось это так.

Перед рассветом старшина привез нам обед, с тем чтобы мы еще затемно поели и затемно же он бы успел вернуться в расположение полковых тылов. На этот раз старшина привез по сто граммов. Не успели еще бойцы выпить, как в небе зарокотали моторы. Около ста едва видимых в чуть светлеющем небе «юнкерсов» темным облаком наплывали на наши позиции. Два десятка «Ю-87» выстроились в кильватерную колонну и один за другим стали пикировать на огневые позиции минометчиков.

— По окопам! — крикнул я.

Лейтенант Гайдук, младшие сержанты Кучер и Са-

вельев упали в щель, которая была от них поблизости. «Юнкерс» устремился на них.

— Сережа! Гайдук!.. Берегись!.. — заорал я, но было уже поздно.

Одна из бомб упала прямо в окоп.

Кто-то крикнул раздирающим душу голосом:

— Лейтенант Гайдук погиб!

Я выскочил из своего окопа.

При виде кровавого месива на месте взрыва сошел с ума красноармеец казах Жамбуршин. Он сидел в своем окопе и, сложив руки на груди, жалобно тянул на одной ноте: а-а-а...

Минометчики собрали останки своих товарищей и похоронили в воронке от бомбы. Насыпали небольшой курган. Сняли каски и так, молча, постояли немного над первой нашей могилой.

К несчастью, она была далеко не последней. Пока я еще жив и помню имена некоторых настоящих героев, немного расскажу о них. Ведь я не знаю, сумею ли это сделать завтра...

Комиссар Барышев

Он был все время со своими пехотинцами. Там, где было особенно худо, был и он, комиссар Барышев, высоченный, с черными, сросшимися над переносьем бровями.

В один из особенно тяжких моментов, сложившихся для первой роты, он бежал туда. Вдруг короткий, резкий удар в голову. Верно, он не совсем еще понимал, что с ним стряслось. Добежал до первой роты, окровавленный, и перед удивленными бойцами крикнул в телефонную трубку:

— Рыков, я убит!

И упал. Теперь он только смотрел на пехотинцев, залитый кровью, но сказать уже ничего не мог.

И тут только кто-то крикнул:

— Ребята, за комиссара — бей фрицев! Вперед!

Лейтенант Дащенко

В это время майор Чхиквадзе вызвал к себе начальника связи полка лейтенанта Дащенко.

— Почему нет связи с первым батальоном?

— Не знаю, товарищ майор. Очевидно, порывы...

— Немедленно устранить!

— Товарищ майор, люди все вышли из строя...

Майор посмотрел в глаза лейтенанта.

— Дащенко, мне нужна связь. Понятно?

— Понятно, товарищ майор.

— Идите.

...Дащенко, длинный, сухой, как жердь, с толстыми, вывороченными губами, полз и полз вперед. Пуля ударила в плечо. Он только поморщился и продолжал ползти. Он взял два конца и дрожащими руками, превозмогая нестерпимую боль в плече, связал их. «Ну, вот... хорошо», — должно быть, подумал он. Но в это время две пули снова впились в него.

Но об этом еще не знал майор Чхиквадзе, вновь разговаривавший по телефону с комбатом первого батальона Рыковым.

Три Николая

Их было в моей роте трое: сержант Николай Фокин, смуглый, коренастый, очень заботливый и хозяйственный; Николай Сараев, румяный, как девушка, голубоглазый и очень молчаливый паренек; Николай

Светличный, казалось, всегда на что-то обиженный, очень слабый физически.

Припоминается первый наш бой. Это было 4 августа. Около реки Аксай притулился небольшой хуторок Чиков. Минометная рота зарылась в прибрежных камышах и до поры до времени молчала. Ни с земли ее не заметишь, ни с воздуха. В 5 часов вечера неприятель силою до двух батальонов предпринял атаку на хутор. Наши пехотинцы первыми вступили в бой. Минометная рота изготовилась тоже.

Командиры расчетов волновались: это будут их первые мины, выпущенные не по мишеням, а по живым людям. Когда высота стала черной от вражеских солдат, рота дала первый залп, затем второй, третий. Мины рвались прямо в гуще неприятеля.

Николай Светличный улыбался широкой, простодушной улыбкой. А Николай Фокин не вытерпел, крикнул:

— Наддай, ребятушки!

Николай же Сараев в это время что-то сердито ворчал себе под нос. Ему все казалось, что это не его мины ложатся в неприятельском стане, и в душе злился на Светличного: «Этот всегда опередит...», и он резко подавал все новую и новую команду.

— Левее — 0,5, прицел 8,40 — огонь! — звенел его голос.

Под станцией Абганерово Сараева приняли в комсомол.

29 августа немцам удалось замкнуть кольцо окружения вокруг нашей дивизии.

Решено было пробиваться к своим. Пробиваться с боем. В районе совхоза Зеты моя рота расчленилась на отдельные группы. Мы уже выходили из балки, когда увидели устремившуюся на нас лавину вражеских танков. Один из них, отделившись от остальных, начал

настигать группу минометчиков, в которой находился и я. Помнится, я услышал за своей спиной прерывистое дыхание:

— Товарищ политрук, я с вами...

Я обернулся, но Сараева уже не было рядом. В последнюю минуту я увидел его возле немецкого танка. Не скрою, худая мысль на мгновение промелькнула в голове: «Не в плен ли?..»

Из люка высунулся фашист:

— Рус, сдавайсь... капут!..

Подойдя вплотную к Сараеву, танк остановился. Видно, немец был уверен, что русские оба сдадутся в плен. Он еще раз крикнул:

— Рус, зольдат, официр, сдавайсь!..

Николай в секунду отстегнул противотанковую гранату и метнул ее прямо в люк танка. Огромной силы взрыв бросил меня на землю. Когда же дым рассеялся, я увидел неподвижный танк, рядом с ним лежал Сараев.

В это время на расчет сержанта Николая Фокина, набрав максимальную скорость, мчалась немецкая танкетка.

— Связать несколько гранат! — приказал Фокин.

Когда это было сделано, он скомандовал еще раз:

— Ложись! — и сам побежал навстречу танкетке. Немец выстрелил в Фокина, но и это не остановило минометчика. Раненый Николай со связкой гранат упал под гусеницу танкетки.

...Загорелся немецкий двухмоторный бомбовоз «Юнкерс-88». Измученные лица наших бойцов оживились. Кто-то крикнул не своим голосом:

— Так, так их!.. Братцы, ура-а-а!

Это был Николай Светличный. Без гимнастерки, в одних шароварах, изможденный, напрягая последние силы, он один тащил на себе миномет.

Когда позже я рассказал ему о его тезках, он, отдышавшись малость, тихо выдохнул:

— Вот... им, этим минометом, мстить буду...

2 сентября.

Дождь. Все развезло. Накануне, темной ночью, остатки дивизии заняли оборону в районе хутора Елхи, южнее Сталинграда. К вечеру кто-то из моих взводных принес немецкую листовку. В ней, между прочим, сообщалось: «Разгромили дикую сибирскую дивизию, а она снова появилась». Это о нас.

1 октября.

Один за другим возвращаются в дивизию из госпиталей и санбатов бойцы и командиры. На днях объявился и лейтенант Дащенко. Его наградили орденом. Вчера по такому случаю мы с ним чуть ли не всю ночь проговорили, вспоминая бои на Дону и особенно под станцией Абганерово.

8 октября.

Сегодня у меня особенно счастливый день — получил два письма: от сестры и брата Александра.

Сейчас два часа ночи. За окном трещат пулеметы, а я закончил чтение пьесы Корнейчука «Фронт». Он, пожалуй, первый замахнулся так решительно на некоторых больших по положению, но маленьких по своему кругозору военачальников.

9 октября.

Вспомнил, как прорывался я 29 августа из вражеской «мышеловки». И не зря. Вот уже больше месяца

нахожусь среди своих людей, слушаю русскую речь, вижу солнце, воюю, живу...

Конечно, трудно рассчитывать, что в этой войне останешься живым. Но ведь останется же кто-нибудь из наших людей, и они увидят жизнь во всей ее красоте. Это сознание отрадно.

15 октября.

Два чувства. Радость: присвоили звание старшего лейтенанта. И тут же — чувство тревожного ожидания. Стоим мы на месте. Больше месяца обороняем рубеж — и ни с места.

24 октября.

Около моего блиндажа грохнулась громадная бомба. Чуть было не сыграл в ящик...

Фашистов здесь ждет большая неприятность, пожалуй, не менее той, которую они изволили скушать в декабре прошлого года под Москвой.

26 октября.

Второй день у немцев настоящий ад. Несколько эскадрилий наших славных «илов» штурмует их. А вчера мы и сами познакомились с действиями штурмовиков. Я вполне понимаю, почему немцы называют этот тип советских самолетов «Черная смерть». По ошибке восьмерка «илов» штурмовала нас. Несколько минут содрогалась земля.

...Еле выбрался от немецких автоматчиков. Ночь месячная, и они заметили меня.

Наши бойцы залпом из винтовок сбили «мессершмитт».

29 октября.

Прочел дневник немецкого солдата. Его жадность прямо-таки поразительная: за два месяца этот поганец отправил в Германию 50 посылок!

1 ноября.

Принял 12 новых комсомольцев [1].

3 ноября.

Ночью приснился мне Василий Иванович Чапаев. Сидит, обнявши нас, и рассказывает о своих делах на Урал-реке...

5 ноября.

Два дня, а точнее — две ночи, вел разговор с гитлеровцами. В микрофон чуть было не выругался: так противны они мне. Вчера один фриц сдался нам в плен. Худой, обросший девятнадцатилетний гитлеренок. «Гитлер капут!» — твердит он и испуганно озирается. Нашкодил, мерзавец, и теперь побаивается.

...От брата Алексея нет никаких известий. Неужели его... Нет, этого не может быть.

К нам прибыл новый командир полка — майор Попов. Впечатление произвел на нас самое хорошее.

... Мы живем сейчас втроем. Три старших лейтенанта, вчерашние младшие политруки: я, Зебницкий и Соколов. В глухую полночь, когда мы благополучно возвращаемся из опасного путешествия на передний край, наше подземное жилище оживает. Гремит наша

---

[1] Во время боев под Сталинградом мне пришлось быть на различных должностях: политрук минометной роты, секретарь комсомольского бюро полка, замполит батареи.

песня, рвется на волю. Потом вспоминаем прошлое, девушек, работу. Вася Зебницкий рассказывает и солидно привирает, а мы смеемся. А где-то близко, над нами, — рокот моторов, в каких-нибудь 200 метрах — немцы, стрекотня пулеметов и автоматов. Обычная фронтовая ночь.

Во мгле, чуть-чуть освещаемый заревом пожаров, как израненный исполин, стоит Сталинград.

6 ноября.

Нахожусь в 50 метрах от противника. Беседую в окопе с командиром стрелкового отделения Воробьевым. Замечательный парень. Он уже уничтожил 15 фашистов. У него плохое обмундирование — надо сменить. Рассуждает он просто: «Вот я отправил на тот свет 15 гитлеровцев. Что было бы, если б каждый боец сделал то же самое? А было бы вот что: ни одного фрица не осталось бы на нашей земле...»

Красноармеец Сурков полагает так:

«Фашист... это такая паскуда, что ежели его не убьешь, то на твоей же русской душе грех».

И Сурков боится принять на себя такой грех — он укокошил 20 гитлеровцев.

9 ноября.

Дают мне 2-й батальон. Хватит ли сил наладить здесь работу? Буду тянуть этот воз, как полагается, до конца. Надо подумать хорошенько, с чего начать.

Снова принял 12 новых бойцов в комсомол. Крупецков [1] доволен: наконец-то нашелся ответственный секретарь.

Что-то долго нет писем от брата.

---

[1] Крупецков — помнач политотдела дивизии по комсомолу. В романе «Солдаты» выведен под именем капитана Крупицына.

20 ноября.

Получен приказ о наступлении по всему фронту. Всеобщий восторг. Боец 1-й минометной роты Латыпов Саид сказал:

— Давно бы так, а то сидим...

Борисюк сгорает от нетерпения: скорей бы, скорей бы!..

23 ноября.

Третий день идет наше наступление. Величайшая операция удалась: вся мощная сталинградская группировка врага полностью окружена. Если удастся завершить эту широко задуманную операцию, то враг будет наполовину разгромлен. Уже в наших руках Калач, Советская, Абганерово, Зеты и ряд других населенных пунктов, уже пройденных нами однажды с боями.

На поле боя появилось новое грозное оружие. Впрочем, солдаты так его и нарекли — «Иоанн Грозный». Немцы говорят: «Рус домами стреляет». Сто килограммов — одна мина. Ничего?! Иногда стабилизатором своим она цепляется за упаковочный ящик, из которого ее прямо и выстреливают гвардейские минометчики, и летит с ящиком.

25 ноября.

Наступление наших войск продолжается. Но у нас тут задержка: враг жестоко огрызается. Мы понесли тяжелые потери. Убиты командир второго батальона Любич, его заместитель по политчасти Моисеев, заместитель командира первого батальона Смагин.

Сообщают, что взяты пленные.

1943 год

3 января.

Долго ничего не писал. С 1 декабря я на новой должности.

18 января.

Фашист отписался. Советская пуля освободила фашистского выкормыша от столь тягостного труда. Дни идут, и они несут нам победу, а окруженному немцу — капут. Рядом с моим блиндажом — яма, а в ней — расстрелянные советские военнопленные. Сколько молодых жизней оборвалось!..

Мы расположились в немецком блиндаже. Впечатление такое, что они жили тут целое столетие: такая уйма барахла.

Завтра снова штурм. Это, по-видимому, последний. Сколько времени я не спал, даже не помню. Очень много. Таких напряженных дней еще я никогда не переживал. Все воюют с каким-то лихорадочным энтузиазмом.

Жду письма.

21 января.

Штурм еще не начался. Ждем с часу на час. Вчера кто-то крикнул: «Наши войска заняли город Валуйки!» Рядом со мной один боец собрал трофейные патроны и, разговаривая сам с собой, проворчал: «Все города возьмем».

Приснился мне сон, будто я на руках своих держал маленького хлопчика, такого славного мальчугана. Что бы это значило? Ведь Сереже Гайдуку тоже снился мальчишка. За два дня до гибели... Впрочем, долой такие мрачные мысли!

22 января.

В 8 часов 50 минут началась артподготовка. В воздухе такой грохот и скрежет, точно мчался огромный лист ржавого железа, подхваченный ураганом. «Катюши» пропели три «арии». Им своим баском подтянул наш уважаемый «Иоанн Грозный». Сейчас двинулась пехота. Сообщают, что Стародубовка занята нашими войсками. Очередь за Песчанкой, а там и Сталинград.

Накануне, в балке Караватка, долго искал, где бы поспать. Обнаружил в снегу дыру. Пролез. Нащупал в темноте какие-то мешки. Поправил полушубок и устроился на них. Утром проснулся — вижу: не мешки это, а трупы немецких солдат, сложенные аккуратно, по-немецки, штабелями. Не успели, знать, увезти и похоронить.

23 января.

Песчанка наша! Ночью дивизия овладела ею. Был свидетелем встречи с населением. Неописуемой была эта встреча. Люди обнимались, целовали бойцов, целовали стены своих разрушенных хат.

31 января.

Сталинград. Бесконечной вереницей плетется колонна военнопленных гитлеровцев. Солдаты идут, обмотанные тряпьем, на ногах что-то навернуто, они идут понуро, жалкие, грязные, перезябшие. Из колонны выходит один, обращается к нашему бойцу-конвоиру, обращается по-русски:

— А работа у вас будет?

— Да, найдется, — отвечает боец. — Для вас подходящая работенка будет. Вот, — показывает боец на груду кирпичей вместо Сталинграда, — вот ваша работа...

— О, я, да, да, — понимающе кивает головой пленный.

— Ну, вот и хорошо. Поняли, значит, друг друга, — лукаво говорит наш боец.

На пленных смотрит старуха. Ей лет 70. Все лицо исполосовано морщинами. Меж дряблых щек и морщинистого лба едва поблескивают маленькие глазки, удивительно живые и пронзительные. Время от времени старуха замечает, да так, чтобы ее слышали в колонне:

— Брось одеяло-то, ты, долговязый... Эка, жадность-то! Уж не мое ли? Дай-ка глянуть... Ведь зачем оно тебе? В могилу, рази, тащишь?..

— Не в могилу, бабушка, а в плен, — поясняет конвойный.

Но старая недоумевает:

— Разве их не убьют?

— Нет, — отвечает боец.

— Ну, да бог им судья. Пущай уж живут, коли сдалися. Но што они, сынок, тут творили! Што творили!.. Не приведи господи!

Между тем бесконечная рваная, пестрая толпа когда-то непобедимых идет и идет. Старуха продолжает ворчать. Однако без прежней уж злости, простодушно:

— Вот бы их такими самому Хитлиру показать... Нечистая он сила, до какого сраму людей своих довел!.. А вон, глянь на того, штаны поддерживает, несчастный... пуговица, знать, оторвалась. Господи, господи, мать, небось, у него есть где-то, ждет...

Колонне не видать конца. Она движется, движется, извиваясь меж развалин, как огромная пестрая змея. Старуха продолжает:

— Сам, сказывают, Паулюс сдался в плен-то. Так, что ли, сынок? — спрашивает она теперь уже меня.

Я отвечаю утвердительно и сообщаю, что только вче-



ра еще Гитлер присвоил ему звание фельдмаршала. Старуха минуту думает, потом решительно заключает:

— Должно, тоже для поддержки штанов...

2 ноября.

В вихре, в грохоте сражений приближается к концу 1943 год. Позади Курская дуга, а я не писал ни строчки в эту тетрадь. Все время забирает «Советский богатырь». И вот мы уже за Днепром, где-то возле Знаменки.

У меня страшное горе. Получено письмо, которое я долго ждал и которого очень боялся в душе:

«Уважаемый товарищ Алексеев!

Выполняя Вашу просьбу, с глубоким прискорбием извещаем, что Ваш брат Алексеев Алексей Николаевич погиб от разрыва мины 4 сентября с/г и похоронен около дер. Леоново, Ельнинского района, Смоленской области. Тов. Алексеев, вражеская мина вывела из наших рядов моего подразделения лучшего друга, товарища и командира. Весь личный состав моего подразделения и другие его сослуживцы чтут память погибшего Алексеева Алексея и долгие годы будут держать его светлую память в своих сердцах.

С приветом — капитан Ветров.
8.10.1943 г.»

Много позже пытался я написать стихотворение, посвященное брату Алексею, но почему-то так и не осилил. Сохранилось в другом блокноте его начало:

В Смоленщине, близ Ельни,
Простой и честный,
В бою был убит солдат...
Для вас — Неизвестный.
А мне он — брат.

Вот она, жизнь... Милый, родной мой брат! Плакать-то мне нет времени... Я тебя никогда больше не увижу. Да увидят ли и меня наши родные — ведь эта беспощадная борьба продолжается, пожирая все новые и новые жизни.

4 ноября.

На нашем фронте затишье, но чувствуется, что это ненадолго. Некоторые мои товарищи едут в тыл на учебу. Жалко расставаться с ними и грустно.

Стоит противная погода. Дует ветер, лицо сечет холодный дождь. Кругом темно, как в могиле. Многих мучает насморк. Где-то в этой мокрой липкой пучине ревет бомбардировщик. Не сиделось ему на аэродроме...

6 ноября.

Взят Киев!!!

8 ноября.

Опять весь день идет мелкий дождь. Дороги развезло — ни пройти, что называется, ни проехать. Ночью у меня был Л. Он очень увлекательно врал.

По радио узнали: освобожден город Фастов.

17 ноября.

Только что пришел с совещания редакторов дивизионных газет. Выступления и доклады товарищей Смолянова и Серебряного мне очень понравились. Вот мысли Серебряного о нашей работе по докладу и приказу товарища Сталина к 26-й годовщине Октября.

I. Довести до глубокого сознания людей значение коренного перелома в ходе Отечественной войны:

а) воюем три года — и все время Красная Армия растет в своей мощи; б) кризис Германии; в) бойцы преодолели все испытания первых лет войны (боец оправдал чаяния народные); г) наше моральное и техническое превосходство над гитлеровцами. Воспитывать чувство презрения к фашистам (Красная Армия растоптала авторитет немецкого оружия); д) давать собственные статьи об успехах Красной Армии.

II. Вопросы советского тыла:

а) писать побольше о всенародной помощи фронту; б) побольше писать о Коммунистической партии, о ее организующей роли.

III. Зверства фашистов:

а) излагая факты таких зверств, мы должны всегда предупреждать врага о суровом возмездии за содеянные им злодеяния (найдем на краю света); б) помещать в газете официальные сообщения об этих фактах.

IV. Международное положение:

а) почаще писать статьи простым, доступным красноармейской массе языком; б) не забывать о союзниках.

Гитлер проиграл.

V. Дать разворот: отрывок из романа М. Шолохова «Они сражались за Родину».

26 ноября.

Поражаюсь, откуда страна берет силы. Это же немыслимо: наступать столько времени на 1500 километров по фронту одновременно!

Взяли Гомель.

Слушаю Приказ Верховного Главнокомандующего.

Недалеко ухает. Война.

5 декабря.

Приезжала делегация из Казахстана с подарками из тех мест, где когда-то формировалась наша дивизия (сперва 29-я, а после Сталинграда — 72-я гвардейская стрелковая). Было очень весело. От людей, приехавших из далекого тыла, повеяло чем-то милым, далеким, давно утраченным нами. Повеяло мирными днями, от которых мы отвыкли.

Сегодня началось наше наступление. Авиация сделала один вылет и больше не появляется — сильный туман застилает землю.

Танки наши шли и шли.

День морозный, бодрящий. Снега еще нет. От сильного обстрела у нас в хате повылетали стекла.

7 декабря.

Наши войска освободили город Александрию. Ко мне пришел наконец Карамурза [1]. Как я его ждал! Сейчас пойдем с ним вместе ползать по окопам.

10 декабря.

Пятый день наступаем. Заняли несколько сел. В деревне Дубовой фашисты расстреляли 60 здоровых молодых мужчин — чтобы они завтра не встали в наши ряды. Оккупанты ведут себя злобно и нервно. Всюду следы ужасающих зверств.

Три раненых красноармейца сидят в хате. В их руках по ломтю хорошего вкусного хлеба. Шинели в кро-

---

[1] Алексей Карамурза — корреспондент армейской газеты «За Родину», ныне преподаватель одного из московских вузов.

ви. Бойцы оживленно вспоминают бой, из которого они только что вышли.

Нет ни тени уныния — бодрость, вера в свои силы. Это 1943 год, а не 1941-й!

То и дело приводят пленных.

11 декабря.

Недалеко от нас, в балке, фрицы. Стрекочут из автоматов. «Юнкерсы» яростно бомбят. Мимо меня пролетает снаряд. Судьба...

22 декабря.

На правом фланге немцы атакуют яростно, зло. Нами оставлена Новгородка. На днях мы потеряли половину своего состава. Врезались клином вперед, и нас отрубили. Нашлепали нам основательно. Мы зазнались, и нас бьют.

...Слышен т а м рев орудий.

Здоровье мое паршивое. Отдохнуть бы. Легко ли в течение почти трех лет сознавать, что справа, слева и прямо перед тобой, в каких-нибудь 500 метрах, а то и ближе — враги, которые заняты одной-единственной мыслью, как бы убить тебя?

31 декабря.

...Завтра покидаем Верблюжку. Двинемся, пожалуй, туда, где покрепче «сабантуй». Через несколько часов— новый, 1944 год... Что-то он нам приготовил? Как идет время!

Немцам не удалось закрепиться и в эту зиму. Ватутин страшно навис над их югом. Положение у немцев более чем паршивое.

1944 год

5 января.

Войска фронта вновь перешли в наступление. Нашу дивизию пополнили, придали 150 танков. В 8 часов утра загудела артиллерия, именно загудела, так как это был не грохот, а сплошной рев тысяч орудийных глоток разных калибров в течение часа.

Первую часть своей задачи мы успешно выполнили. Количество наших резервов поразительно растет.

Приводили пленных. Черные, в крови, жалкие. Мне кажется, что и они понимают, что конец их близок.

Наступление наше принимает неистовый характер. Оно растет с каждым днем...

10 января.

Первые дни наступление шло успешно, но сейчас затормозилось — отстал левый фланг. Получено сообщение о награждении нашей дивизии орденом Красного Знамени за взятие Кировограда.

Позавчера пережил ужасную бомбежку, чуть было не попал прямо к немцам. Сейчас находимся в селе Калмыковка. Остановились в одной хате. Хозяева чудесные.

13 января.

Здесь, на Украине, говорят о Калашникове — герое сказочной хитрости, командире партизанского отряда.

31 января.

Мы будем долго сидеть в обороне. А в Калмыковке скучно. Стоит отвратительная погода. Дождь, грязь. Это в январе-то!

2 февраля.

Сегодня годовщина Сталинградского сражения. Его участники собрались сегодня в нашей хате и по-гвардейски отпраздновали эту дату.

* * *

На этом и кончаются записи в тетрадке, начатой еще под Сталинградом. Не скрою, мне жаль расставаться с ними, как бывает жаль расставаться с давним и верным другом, с которым хорошо вспоминать о былых походах.

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



1

Мне давно хотелось поговорить с тобой, мой младший товарищ по оружию, поговорить по-солдатски, откровенно. Кто бы ты ни был по своей гражданской профессии — шофер, тракторист, токарь, агроном, сельский учитель или хлебороб, горожанин или житель села; откуда бы ты ни приехал в воинскую часть — с Крайнего Севера, с юга, с запада или с самого Дальнего Востока, — ты испытываешь все то же волнение, которое испытывают все, впервые вставшие под священное Знамя полка.

Вспомни, как гулко билось твое сердце при звуках песен, рожденных бессмертными подвигами наших с тобой отцов и старших братьев в огненные годы гражданской войны.

Эшелон за эшелоном,
Эшелон за эшелоном...

И как хотелось бы тебе оказаться вдруг среди тех, кто мчался по просторам великой нашей

земли в этих легендарных эшелонах, или шагал рядом с девушкой в походной шинели у Каховки, или закончил свой поход на Тихом океане.

Ты был еще школьником, беспечным мальчишкой, едва ли когда-нибудь помышлявшим о беде, когда в воскресный день двадцать второго июня на твою Родину обрушились черные силы фашизма. Может, это тебя, товарищ, уводила за ручонку с запада на восток твоя мать; может, это она на пыльном шляху, почерневшая от солнца и горя, остановилась, с надеждою и вместе с тем с укором смотря на наши отходившие колонны, — ох, если бы ты мог помнить этот ее взгляд, мой младший товарищ, взгляд матери!.. Может, именно в эту минуту мы, солдаты, с особой силою поняли, какая величайшая и святая ответственность легла на наши солдатские плечи.

Спасем тебя, Родина!.. Отстоим!..

Мы не произносили этих слов. Они жили внутри нас, они обжигали наши сердца, они звали на подвиги. Мы знали и чувствовали, что в нас зреет такая сила, которой суждено сокрушить врага.

«Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР» — эти слова вдруг обрели новое и более могущественное звучание, когда над нашим социалистическим Отечеством нависла смертельная опасность.

Тебе, мой дорогой товарищ, очевидно, на всю жизнь запомнились и другие слова из Конституции: «Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан СССР».

2

Было это в сентябре 1942 года, когда фашистские полчища осатанело рвались к Сталинграду. Орудие

сержанта Петра Петухова стояло на высотке, против пригородного поселка Бекетовка. Стояло оно в тот день одно-одинешенько, потому что другие пушки батареи были уничтожены вражескими бомбардировщиками, а новые орудия еще не успели прибыть. Как случилось — в деталях уже и не припомнишь, — но только прорвались три немецких танка сквозь боевые порядки нашей пехоты и на полной скорости устремились к Бекетовке. Наверное, и вскочили бы они в этот тихий поселок, не окажись на их пути орудия сержанта Петра Петухова.

Как, вы думаете, должен чувствовать себя человек, оказавшись один против трех бронированных чудищ? Полагаю, не сладко было ему в ту минуту. Впрочем, было ли у Петухова время разбираться в своих чувствах?..

На следующий день я проезжал мимо этого орудия. Оно находилось на прежнем своем, уже привычном для нас месте, в ста метрах перед ним стояли обгорелые вражеские танки. Так сержант Петухов выполнил свой священный долг перед Родиной. Ведь кто знает, что бы произошло, прорвись те три вражеских танка к Волге на рубеже Бекетовки?..

Я все же не утерпел, проходя мимо, задержался-таки возле огневой позиции Петухова. Теперь рядом с его пушкой стояли другие, словом, целая батарея, будто воскресшая, находилась на своем месте. Я удивился простоте лица Петухова. Светловолосый парень, с обычным русским прищуром глаз, ему тогда было едва ли больше двадцати — двадцати двух лет, по виду — деревенский, коренастый, с большими руками. Однако мечтатель. Разговорились.

— Страшно небось было ночью, когда самолеты летали? — спросил я, поняв, что о подбитых танках сержант больше говорить не расположен.

— Чего ж тут страшного? Я, поди, не один! — заговорил он с волжским оканьем. — Видали, чай, как прожектористы мне помогли! — Он на минуту замолчал, потом как-то хорошо, широко улыбнулся и добавил, вдруг весь просияв: — Хороший народ прожектористы!.. Как начнут шарить по небу своими фонариками, сразу на душе веселее становится. Да и думается: не один ты тут, отовсюду тебе подмога!..

Я тоже нередко наблюдал за ночной работой прожектористов и понимал Петухова. Ночь, тревожная фронтовая ночь — только представь это себе хорошенько, — ты сидишь в окопе, и вдруг над тобой возникает, все нарастая, до тошноты противный ноющий звук, который способен перевернуть душу, — это вражеский ночной бомбардировщик. И ты не знаешь, где ему вздумается опустить смерть, которую он несет на своих черных крыльях. И вдруг тугую чернь ночи располыхнет яркий, слепящий, похожий на меч, луч прожектора. К нему присоединяется другой, третий, они скрещиваются, и вот уже воровски пробравшийся в наше небо неприятельский бомбардировщик призрачной бабочкой мечется в лучах прожекторов, и спасения ему нет, ибо заговорит орудие Петухова, заговорят одновременно десятки других орудий. И на душе становится веселее.

Это ли чувство владело в ту пору Петуховым, не знаю точно. Но, пожалуй, не только, а может, и не столько это чувство: гораздо сильнее было другое — великое и непреоборимое чувство фронтового братства, рожденное сознанием того, что рядом с тобою, плечом к плечу, стоят тысячи тебе подобных советских людей, объединенных общностью большой задачи — во что бы то ни стало разгромить врага, людей, спаянных единым долгом, единой любовью и ненавистью. Это было время, дорогой товарищ, когда мы больше думали



о своем долге перед родной страной, о своей обязанности перед нею, чем о правах. Мы знали, что спасенная нашим оружием, кровью нашей и затем обновленная и украшенная нашим трудом, она, наша светлая Отчизна, сама вспомнит о наших правах и воздаст нам сторицей за нашу кровь, пролитую на поле брани.

3

Может быть, ты в недоумении: для чего, дескать, рассказ про сержанта Петухова? К слову, что ль, пришлось?..

Может быть, и к слову. В этом большой беды нет. Гораздо важнее другое: ты посмотри хорошенько на своего командира батареи (коли ты зенитчик), кто он — капитан, старший ли лейтенант по званию, всмотрись в него попристальнее: не Петухов ли он? Если у него другая фамилия — это еще ничего не значит, дело не в фамилии, а в биографии, а биография у твоего командира, наверное, такая же, как у Петухова. Подумай об этом хорошенько и научись у своего командира так же выполнять свой священный долг перед Родиной, как выполняло его поколение Петухова.

Воинский труд тяжек, тяжек даже в мирное время. Нелегко овладеть одной из самых нужных и самых важных профессий — профессией защитника Родины. Но ты обязан сделать это. Обязан не только потому, что дал клятву (должно быть, в твоем сердце еще звучит твой собственный голос, чуть приглушенный глубоким волнением, когда ты зачитывал текст военной присяги), обязан в кратчайший срок стать умелым, мужественным воином потому, что таким ты нужен Родине. Таким хотят видеть тебя миллионы наших друзей за рубежом, для которых ты — верный и надежный страж мира во всем мире.

1959 г.

НЕ ПОМЕРКНЕТ НИКОГДА



1

Время идет и делает свое дело. Одни события сменяются другими. Порою даже трудно удержать их в памяти — так много этих событий и так стремительно сменяют они друг друга. Но есть в жизни человека такое, что с годами не только не тускнеет и не угасает в памяти, а становится еще более ярким, отчетливым и до боли сердечной волнующим. Еще в тридцатые годы, будучи мальчишками, мы нередко спрашивали своих отцов:

— Скажи, тятька, как это ты все помнишь про германскую да гражданскую? Ведь это же было давным-давно?

Да, нам, десятилетним хлопчикам, казалось, что события, участниками которых были наши отцы, происходили давным-давно, потому что в ту пору нас еще не было на свете. А вот теперь с такими же вопросами уже к нам самим обращаются наши дети. И мы улыбаемся их наивности. Мы никак не можем понять ребятишек: нам ли, четыре года

просидевшим в окопах, забыть о тех огневых и бессмертных днях?! Такое не забывается!

И как только я об этом подумаю, почему-то сейчас же вспоминаю письмо, полученное мною несколько лет тому назад от солдата-однополчанина. Вот что писал этот солдат:

«Товарищ подполковник!

Простите меня, но я на вас в большой обиде: там, на Днепре, в лодке Шахаева, о которой вы упоминаете в своей книге, был и я, рядовой Белов, а вы этого не заметили. А вообще-то все правильно написали...»

Получив такое письмо, я надолго задумался, стараясь угадать мотивы, побудившие солдата обратиться ко мне с этим небольшим письмецом. Может быть, тщеславие? Желание во что бы то ни стало попасть в книгу? Но, разумеется, я тотчас же начисто отбросил подобную мысль. Я достаточно хорошо знаю исключительную скромность советского солдата. Вероятно, в чем-то другом можно было бы его упрекнуть, но только не в этом. Однако в чем же дело?..

На выручку приходит память. Вспомнились самые тяжелые дни сорок первого и сорок второго годов.

Только что отбита очередная отчаянная атака гитлеровцев. Полуразвалившиеся окопы. Пыль и гарь на горячих тяжелых касках уцелевших бойцов. Усталые и злые, сидят солдаты, прислонившись к медленно осыпающимся стенкам траншей. Не в силах даже свернуть папиросу, все же тихонько перебрасываются ленивыми, прерываемыми длительными паузами словами. И вдруг слышу:

— Хотя б не забыли... знали б обо всем этом, — боец обвел взглядом вокруг себя, — не забыли б те, которые будут жить после нас...

— Не забудут, — ответили ему.

Боец оживился:

— Ты думаешь, Иван, не забудут?

— Не забудут.

— И про меня, про Петра Сидоренкова то есть, будут помнить?! — И признался: — Знаешь, Иван, очень хочется, чтобы не забыли! — И лицо его просветлело.

В ту пору мне приходилось быть почти все время среди рядовых. Я видел, что солдат наш шел на любую, самую опасную операцию. Шел и не боялся. И ему очень хотелось, чтобы Родина знала об этом, знала о его подвигах, знала, что он всегда был ее верным сыном. Вот почему мой однополчанин рядовой Белов в обиде на меня. Ему, как и десяткам тысяч его боевых сподвижников, страстно хотелось быть уверенным в том, что грядущие поколения по достоинству оценят их бессмертные подвиги в великой войне за спасение Советской Отчизны; что оставшиеся в живых и родившиеся вновь люди будут знать, что вот такой-то рядовой Белов пролил и свою кровь в страшной битве за родимую землю!..

2

Хорошо говорить с людьми, когда все вокруг тебя и вокруг них ладится, когда все идет своим чередом, своим порядком. Тут не надо искать слово-золото. А ведь в жизни нашей страны, в трудной и славной судьбе ее были времена, горше которых, казалось, не знала история. Пришлось отходить, пришлось оставлять клочок за клочком землю, обильно политую кровью отцов и дедов. То было горькое время, когда в сердце жила и билась встревоженная мысль, так точно и с такой поэтической силой выраженная Твардовским:

До чего земля большая,
Величайшая земля.
И была б она чужая,
Чья-нибудь, а то — своя.

Шли советские солдаты на восток. И что-то скорбно-торжественное было в их медленном передвижении, будто несли они не ружья на своих плечах, а раненых товарищей. По щекам катились из-под касок да пилоток грязные ручейки пота, под обожженной солнцем кожей туго шевелились желваки. В глазах — скрытое ожесточение. Как сквозь строй, виновато опустив головы, проходили они мимо женщин, вышедших на улицу проводить тоскующим взглядом своих защитников. И это было, товарищи, тяжелее всего — не было более тяжкой ноши за спиною солдата, чем укоряющие и умоляющие взгляды оставляемых на волю страшной судьбы женщин, стариков и малышей. И вот когда было нужно ваше простое, мудрое и мужественное слово, коммунисты, безвестные рядовые великой партии! И вы находили такое слово в своих сердцах, переполненных той же болью, той же горечью. Но вы не имели права опускать голову — самой судьбой завещано вам держать ее всегда высоко и прямо глядеть в глаза людям и опасности. И вы это делали с честью. Вы говорили своим товарищам по оружию и тем, кого вы оставляли в осиротевших вдруг городах и селах, вы говорили твердо и уверенно: «Мы еще вернемся, товарищи!» Вы это сердцем говорили, а сердце никогда не лжет, и люди верили вам. Верили и повторяли вслед за вами: «Мы еще вернемся!»

Наступило время, когда враг был остановлен. Но и тогда было нелегко. Только в редкие минуты наступало затишье. До крайности измученные, почерневшие



от копоти и пыли солдаты — многие перевязанные наспех — отводили душу в разговорах. Поставит между ног винтовку или автомат, затянется солдат до трудного кашля махоркой, пыхнет для порядку раз-другой да и бросит в притаившуюся ночную тьму:

— Ну и дела!..

Это — сигнал для начала облегчающей душу солдата беседы.

— А правее, сказывал парторг наш, будто еще тяжелее...

А парторг роты уже тут как тут, подсядет потихоньку, никем не замеченный в темноте, послушает сначала, а потом вставит и свое словечко и осторожно поведет беседу в нужном направлении. И все вдруг замечают, что в окопе как бы просторнее стало и дышится полегче. А ведь в особенно тяжкую и горькую минуту предел бывает и солдатскому терпению.

Солдат, сидящий в своем окопе и видящий перед собой лишь маленький клочок земли, откуда в него все время стреляют, естественно, не может проникнуть своим, пусть даже очень цепким умом в существо оперативных замыслов командования. Сколько уже суток ведут они кровопролитный бой, а он, как им кажется, не дает никаких результатов — только погибают товарищи, с которыми так много пройдено и пережито. И тут опять за тобой слово, товарищ коммунист, бессменный агитатор и солдат одновременно! В отличие от других бойцов, у тебя две большие заботы — сражаться за Родину и оружием и огневым своим словом. Ты не мог забыть даже на одну минуту обо всем этом, потому что у самого твоего сердца, согретая твоим телом, все время лежит небольшая красная книжечка — твой партийный билет. Какою же мерой мерить подвиг твой, товарищ коммунист, великий рядовой великой партии!

3

По воле истории трудная, но завидная судьба выпала на долю Советской Армии. Ныне мы с гордостью говорим: социализм вышел за рамки одной страны и превратился в мировую систему. А ведь еще совсем недавно наша страна, как океанский корабль, затертый льдами, одна продвигалась вперед, окруженная враждебным ей лагерем капиталистических государств.

И как же не вспомнить, не помянуть добрым словом простого советского солдата, принесшего освобождение миллионам людей на западе и востоке!

Весна 1944 года. Далеко позади остались политые кровью, черные, изуродованные корсуньские поля, где завершилась величайшая битва за Днепр. С солдатских лиц еще не исчезла копоть только что закончившегося сражения, а они, озабоченные, возбужденные, уже спешили на запад, к границе. И по пути завязывались споры о том, как вести себя за рубежом. И сходились на одном:

— Лицом в грязь не ударим!

А политработники говорили:

— Вы все станете как бы полпредами. Полномочными представителями своей страны. По вашему поведению будут судить о всей нашей Родине, обо всем советском народе. Это надо хорошо помнить, товарищи солдаты!

И бойцы подтягивались, придирчиво осматривали друг друга, расправляли складки на шинелях, разглаживали погоны на плечах, начищали потускневшие медали на гимнастерках. Изумленный мир с напряженным вниманием следил за маршем Советской Армии. Вот и граница — одна, другая, третья... А навстречу выходили незнакомые люди с сияющими глазами. Одно приветствие сменялось другим:

— Буна зиуа!
— Йо напот!
— Наздар!

Разноязычные народы, объединенные одной великой радостью. История возложила на плечи советского солдата великую миссию — миссию освободителя. Что может быть счастливее такой доли?!

4

9 мая. День Победы!

Какой безмерной гордостью наполняются наши сердца, когда мы думаем об этом дне и, думая, вспоминаем...

Дней и верст особый счет,
Как от западной границы
До своей родной столицы
И от той родной столицы
Вспять до западной границы,
А от западной границы
Вплоть до вражеской столицы
Мы свой делали поход.

Страна залечила глубокие раны войны, украсилась новыми творениями рук своих сыновей и дочерей. Окруженная почти со всех сторон своими братьями по великому делу коммунизма, она еще стремительнее идет к своей цели. Много трудностей на ее пути — и тех, которые уже преодолены, и тех, которые предстоит еще преодолеть. Но какие трудности могут испугать народ, одержавший такую историческую победу в годы Великой Отечественной войны! Народ, во главе которого стоит самая смелая и самая справедливая партия на земле — партия коммунистов.

9 мая.

Вспоминая этот день, хочется сказать доброе слово о тех, кто на своих плечах вынес безмерную тяжесть страшной войны, и о тех молодых солдатах, которые не были на войне, но которые стоят сейчас со своим грозным оружием на страже Родины как достойные наследники славы своих старших товарищей.

Во веки веков не померкнет слава нашей армии, нашего народа-победителя и его мудрой и смелой партии.

1960 г.

«ОТГОНИ ОТ СЕБЯ БОЛЬ И СОСТРАДАНИЕ...»



На первой странице моего объемистого блокнота, предназначенного для чехословацких заметок, написано: «По возможности побывать в городах Микулов, Косова Гора, Лученец, Нитра, в селах Камендин и Модры Камень — отыскать могилу Воронцова и Ходжаева».

Так написано. Ну, а ежели говорить начистоту, я, в сущности, тут определил главную цель моего путешествия в Чехословакию. Любезное приглашение побывать в гостях у сотрудников журнала «Květy» оказалось великолепным для того поводом. Некогда пройдя дорогою войны и, по счастью, оставшись живым и невредимым, непременно захочешь пройти по той же дороге и в дни мира. Желание это посетит тебя тотчас же после долгожданной победы и не покинет до конца дней твоих. Оно может исполниться и не исполниться, надеяться же на такое путешествие, с нетерпением великим ждать его изо дня в день, из года в год ты будешь всю жизнь.

Ждал и я. Ждал очень долго — без малого два десятка лет.

Мои гостеприимные хозяева быстро внесли необходимые поправки в первоначальный маршрут, так что я смог побывать почти во всех городах и селениях, упомянутых мною выше. Скажу наперед, что побывал я и во многих других местах этой милой, славной страны и в свое время более подробно расскажу о своих впечатлениях. Сейчас же речь пойдет лишь о нескольких эпизодах, так или иначе связанных с окончившейся двадцать лет назад войной.

МИКУЛОВ

«Старинный город стоит почти на самой границе Чехословакии с Австрией. Древний за́мок возвышается над ним, бросая на землю, на деревья мрачные зубчатые тени. Ветер жутко свистит в бойницах его башен.

Перебив ночью сонных часовых, наши солдаты пробрались в за́мок. Теперь ребята осматривали это сооружение.

В зале, где в давние времена один завоеватель подписывал акт о капитуляции противника, бойцы задержались.

— А капитуляция была безоговорочной? — полюбопытствовал Ванин, обращаясь к Акиму.

— Тогда, кажется, и слова такого не было, — ответил Аким.

Между тем Ванин разлегся на железной ржавой кровати, на которой, как свидетельствует мемориальная дощечка, почивал завоеватель, и с подчеркнутой небрежностью спросил:

— Аким, я похож на Бонапарта?

Аким промолчал. Он вспомнил про Наташу и загрустил...

Ванин, очевидно, поняв состояние друга, оставил его в покое, обратился к Никите, перечитывавшему уже, кажется, в десятый раз письмо отца. Толстые губы Пилюгина шевелились. На обожженном ветром лице солдата была скупая, робкая улыбка.

— Никита, удели мне внимание, оставь письмо-то.

— Что? — не понял Никита и заморгал глазами.

— Похож я на Наполеона, как ты думаешь?

— Хорошо, что не похож...

Из города поднялся в за́мок Пинчук. Он забрался на башню и водрузил там свой неизменный флаг, уже порванный в нескольких местах и полинявший.

— Хай усі бачуть, що мы идэмо!

Семен присел, разулся и, свесив ноги, стал нежно гладить их руками.

— Ну ж и потопали вы, друзья мои самоходные! Нет на вас ни одного нетронутого местечка. Ничего!.. Коли надо будет, еще столько прошагаем!.. Куда хочешь дотопаем, хоть на край света! — Зеленые глаза его вдруг потеплели, голос дрогнул: — Дойдем».

Так писал я о взятии микуловского за́мка в одной из своих военных книг. Мне и самому довелось вместе с разведчиками нашей дивизии вступать в него не то апрельской, не то майской ночью 1945 года. А перед тем за́мок этот, который был одновременно и крепостью, несколько раз штурмовал один из наших батальонов, но безуспешно. Многие советские солдаты пали на его подступах, у его древних стен. Пали всего лишь за несколько дней до Победы...

И вот спустя двадцать лет вместе с сотрудницей чехословацкого журнала «Кветы» Любишей Секеровой я вновь подымаюсь по узкой каменной лестнице в за́мок. Два десятка лет не прибавили ему старости.

За́мок словно бы помолодел. Разрушенные и полуразрушенные стены и башни его восстановлены, заново оштукатурены и даже побелены. Отовсюду слышатся девичьи голоса: тут теперь женская не то школа, не то мастерская. По длинному гулкому коридору бежала светловолосая девчушка лет этак семнадцати. Моя спутница остановила ее и попросила провести нас по за́мку. Та охотно согласилась. Когда осмотр был окончен, девушка подвела нас к большой схеме, висевшей во всю стену, от пола до потолка. Отлучившись на минуту, она принесла лесенку и длинную указку, похожую на бильярдный кий.

— Это мы сами нарисовали, — не без гордости сообщила девушка.

Оказалось, что тут был изображен момент взятия за́мка советскими бойцами. Мы молчали, а наш юный стратег, как заправский военачальник в штабе какого-нибудь воинского соединения, с редкостным знанием предмета и тогдашней обстановки начала во всех подробностях рассказывать нам о событии двадцатилетней давности. Вот отсюда, говорила девушка, советские солдаты пошли на первый штурм. Отсюда стреляли немецкие пулеметчики и артиллеристы. А вот по этим лестницам ночью пробрались русские разведчики... От возбуждения она раскраснелась, светлые волосы растрепались, рассыпались по лицу, она то и дело отбрасывала их рукой и все говорила и говорила о том, как взята была крепость...

Мы поблагодарили и распрощались. Я направился к выходу, а Любиша Секерова немного задержалась. Оглянувшись, я увидел, что они о чем-то шепчутся. А в следующее мгновение девушка, красная от смущения, со счастливыми слезинками на светлых ресницах, стремительно подбежала ко мне, чмокнула в щеку и с такою же стремительностью побежала прочь от меня

по длинному коридору, оглашая его своим звонким голосом.

Она только сейчас узнала, что рассказывала о подробностях боя одному из его участников. Глядя на ее маленькую, быстро удаляющуюся фигурку, я подумал в ту минуту: «Если б не было у меня на земле других волнующих встреч, то ради одной этой стоило бы приехать в страну, навеки ставшую родной и близкой».

КАМЕНДИН-КАМЕНИН

Может быть, более всего мне хотелось побывать в этом селе. Часами мы склонялись над картой Чехословакии, отыскивая его. Я говорю «Камендин», а хозяева решительно утверждают, что нет такого в их стране. Я называю реку Грон, к которой прижалось памятное многим моим однополчанам селение, шарю пальцем по тонкой синей линии, но Камендина не нахожу, и на меня уже смотрят недоверчиво: не перепутал ли? Но погодите ж, а это что, Каменин? Это же словацкое название Камендина! Мы радостно хохочем, а уже через час, в дороге, в сердце моем сызнова поселяется тревога: а вдруг не то? От Братиславы до Каменина сотни верст — не ближний свет.

О сомнениях своих, однако, помалкиваю: что будет, то и будет.

Но вот еще издали узнаю очертания большого села, острой занозой засевшего в памяти моих фронтовых побратимов — тех, разумеется, кто остался живым после трагедии, разыгравшейся в районе доселе неведомого населенного пункта. Здесь сложили свои головы командир моего полка полковник Ходжаев, замполит полковник Воронцов и много других солдат и офицеров нашей дивизии; многие дошли сюда из-под самого



Сталинграда, многим было присвоено звание Героя Советского Союза за Сталинград, за Курскую дугу, за Днепр, за Днестр, за Прут, за Тиссу, но никому за Грон, хотя после Волги и Днепра тут были, пожалуй, самые тяжкие для дивизии бои.

72-я гвардейская дивизия форсировала Грон с ходу, взяла село Камендин и в пяти-шести километрах за ним заняла оборону. Было это в конце декабря 1944 года, а в конце января 1945-го гитлеровцы, стремясь удержать Будапешт, обрушили на нас огромные бронетанковые силы. Две недели шли кровопролитнейшие бои, такие, каких уже давно не видывали гвардейцы. Может быть, их осталось бы в живых больше, отойди они во время боев за Грон на исходные свои рубежи. Но к тому времени гвардейцы уже отвыкли отступать... Их окопы, артиллерийские и минометные позиции, пулеметные ячейки, воронки от бомб и снарядов оказались для них одновременно и крепостью и могилой.

Двадцать лет минуло, а стены многих домов, точно оспой, исковыряны осколками. Ищу дом, где помещался наш штаб. Вот и примета — церковь, против которой стоял тот дом, точно против церкви. Примеряюсь, оглядываюсь — пусто против церкви.

— Сгорел, — подсказывает кто-то по-русски.

Вздрагиваю от знакомого голоса.

— Мартин, ты?

— Я, товарищ капытен!

Он стоит рядом со мной и плачет. Я еще креплюсь, но что-то заслонило дыхание. Вот он, Мартин, наш толмач, наш переводчик, напевавший вместе с нами под аккомпанемент орудийного грома: «Броня крепка, и танки наши быстры».

Я и теперь не знаю, где и когда Мартин Рак, в ту пору молодой солдат, по доброй воле своей оставивший службу в хортистской армии, обучился русско-

му языку, но это был единственный житель Каменина, который помогал нам в общении с местным населением. Сейчас он член кооператива, немного постарел, но глаза его не утратили прежней живости.

Не улеглось еще наше волнение, как Мартин, а вслед за ним Янкуш Радован (во время боев ему было 17 лет), по должности нечто вроде председателя сельсовета, высыпали на мою голову кучу цифр, чтобы я непременно узнал, что в Каменине нынче проживает 1900 человек, что кооператив создан в 1958 году и что в кооперативе этом 1700 гектаров пахотной земли, что в 1961 году построили школу-десятилетку и 150 новых жилых домов, что в кооперативе теперь на фермах 1200 свиней и 690 голов рогатого скота, а после войны, точнее, в 1945 году, оставалось всего-навсего 5 коров. А потом столовая для престарелых, опять же детский сад...

Не за цифрами я ехал. Это правда. Но отчего же и они так волнуют? Ответ я нашел немного позже, в Братиславе, в словах, высеченных на граните памятника павшим советским воинам:

«Ты, который приходишь сюда, отгони от себя боль и сострадание; пусть капли слез твоих не стучат о могилу. За гордость человека, за счастье людей живущих, за твое ясное лицо мы приняли смерть».

Потом мы поехали за Грон, на высокую гору. Отсюда далеко видны поля, которые когда-то были одним сплошным полем кровавой сечи. Расположились на самом возвышенном месте; из бункеров, служивших нам в ту далекую пору блиндажами, старики принесли густое вино цвета крови — той самой крови, которой так щедро была окроплена земля, где теперь раскинулись виноградники. С горы я показал дерево над самой рекой, возле которого когда-то вошел в ледяную воду, чтобы переправиться на другой берег.

Мартин поправил меня:

— Не у этого, а вон у того дерева вы переправлялись.

Я вспомнил, что первым человеком, которого я встретил в Каменине, был и тогда не кто иной, как Мартин.

Благословенна память друга!

КОСОВА ГОРА

Не знаю почему, но именно я повысил в звании это крохотное селеньице, окрестив его городом. На решительное заявление Иржи Лукаша, Любиши Секеровой и других сотрудников журнала «Кветы», что в Чехословакии нет и никогда не было такого города, я с не меньшей решительностью стоял на своем: есть! В доказательство приводил тот несомненный факт, что не только сам участвовал в освобождении этого города, но и встретил в нем 9 мая — первый день Победы. Мы сменили много карт, отыскивая мой город, и только на одной из них в районе Прибрам обнаружили точечку, столь крошечную, что простым глазом ее не вдруг и увидишь — надобно было вооружаться увеличительным стеклом. И вот рядом с этой точечкой такими же малюсенькими буковками написано: «Косова Гора».

Это совсем недалеко от Праги. Меньше часа езды на автомобиле. Въехали сразу на площадь, которая в 1945-м казалась мне чрезвычайно просторной, а сейчас до того малой, что и площадью-то ее нельзя назвать без риска погрешить против истины. По форме она все та же, только появились высокие деревья, которых прежде не было, — выросли за минувшие годы.

И опять встречи. Вот Милош Блажен, школьный учитель, в доме которого 9 мая 1945 года мы остановились на постой; вот учительница Блажена Весела, за

двадцать лет она постарела, стала совсем-совсем седой, а глаза счастливые, блестят так же, как в те далекие дни, когда по вечерам она читала нам по-русски стихи Владимира Маяковского; а вот и дом с высоким забором, мимо которого каждое утро я шел на службу.

Меня, кажется, и тут узнали. Старушка подходит вплотную и, показывая мне на высокий забор у своего подворья, о чем-то хочет спросить. Я долго не могу понять, о чем она. Наконец переводчик помогает. Старушка спрашивает, помню ли я ее петуха, который каждое утро взлетал на забор и, встряхивая крыльями, горланил на всю Косову Гору.

Я вспомнил. Это был петух-красавец. Черный, обсыпанный серебром и золотом, огромный, он всякий раз вызывал мое восхищение. Я останавливался у забора и долго любовался этим добрым молодцем. Хозяйка — она не была тогда старухой — видела это и радовалась за своего петуха.

Тогда мне не приходило в голову, отчего это я так любуюсь, в сущности-то, обыкновенным петухом. Вот теперь только, кажется, можно найти тому объяснение. Вероятно, на протяжении всей долгой войны можно было не раз услышать пение петухов, но почему-то и сейчас не могу вспомнить, что я когда-нибудь обращал на это внимание. Петуха в Косовой Горе я услышал в первый день мира, и это радостно поразило меня, как и все, что нас тогда окружало.

Не потому ли крохотная деревушка по имени Косова Гора показалась мне в ту пору большим городом: в счастье человек склонен к преувеличениям, как, впрочем, и в горе своем.

Но то было преувеличение от огромного счастья.

До свидания, Косова Гора, мы еще с тобой увидимся непременно.

До свидания...

1965 г.

О, ПОЛЕ, ПОЛЕ!



Сталинградское сражение называют величайшим. Иногда — не сражением, а битвой. И не битвой даже, а побоищем. Так было сказано однажды в победном приказе Верховного. Ежели можно было бы придумать эпитет более внушительный, более впечатляющий, мы бы, несомненно, употребили его, потому что где-где, но тут преувеличения не будет. Разве военные историки могут указать нам на другое сра́жение, в котором на определенных этапах его участвовало бы одновременно с обеих сторон свыше двух миллионов человек?!

Каким битвам прошлого сравниться с этой, если вспомнить, что только в боях за Дом Павлова гитлеровские войска (заметьте, самые что ни на есть отборные) понесли значительно бо́льшие потери, чем при взятии Парижа.

Что же касается исторических последствий Сталинградской эпопеи, то и они не имеют себе равных. Лишь после того как вышел из подвала универ-

мага плененный фельдмаршал Паулюс и двумя днями позже поднял руки последний гитлеровец из его 330-тысячной армии, люди почувствовали: «Мир спасен!» — ощутили это душой задолго до того, как обагренные кровью миллионов окаянные руки фашистского фюрера потянутся к ампуле с ядом.

Двести дней и двести ночей!..

О них вспоминают бойцы, съезжавшиеся отовсюду к берегам матушки-Волги по случаю сперва десятилетнего, потом двадцатилетнего, затем тридцатилетнего, а теперь вот — уже сорокалетнего юбилея легендарной битвы. Бойцы, которых, увы, оставалось не так-то уж много, а теперь и того меньше.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Во фронтовом моем блокноте среди множества коротеньких записей есть и такая:

«Удивительное дело! Здесь, у самой Праги, в День Победы, все мы почему-то вдруг вспомнили Сталинград, а ведь после Сталинграда была Курская дуга, Днепр, Карпаты, Дунай... А мне подумалось: «А что там, на Волге, будет через двадцать, скажем, лет? Останутся ли какие-нибудь следы сражения?

9 мая 1945 года. Косова Гора, Чехословакия».

...Поздней ночью отправлялся из столицы экспресс Москва — Волгоград. В последних числах января 1962 года пассажиры его были необычны: они не были обременены тяжелой ношей, вместо чемоданов все больше портфели да сумки, с какими спортсмены ходят на тренировки. Люди ехали, что называется, налегке.

Куда же?

Об этом нетрудно было догадаться, потому что все время слышалось: Чуйков!.. Еременко!.. Павлов!..

Людников!.. Ветераны входили в вагон не сразу, не вдруг: встретившись тут, на хорошо освещенном перроне, они подолгу трясли руки, всматривались в лица, узнавая и не узнавая друг друга. И не мудрено: за двадцать лет, прошедших с тех памятных дней, воины не стали моложе. Сейчас лица их были строги и торжественны.

Из школьных учебников по географии мы знаем, что островом называется часть суши, окруженная со всех сторон водой. Вот только не знаем: как бы в тех учебниках назвали клочок волжской земли, окруженной со всех сторон не водой, а вооруженным до зубов врагом и поливаемой денно и нощно опять же не водой, а ливнем осколков и пуль? И она не была необитаемой, часть суши, о которой мы говорим, — на ней были люди, тысячи наших солдат во главе с их комдивом, именем которого и наречена была на долгую жизнь в истории та крохотная частица земли — «Остров Людникова». На протяжении всей битвы «островитяне» полковника Людникова сражались совершенно изолированные, отторгнутые от основных сил легендарной 62-й армии с ее легендарным командующим. Для фронтовика нет более тяжкой минуты, чем та, когда он не чувствует локтя, плеча своего товарища. А тут была не минута, а много тысяч таких минут.

И вот мы сидим с ним в одном купе, сидим в окружении незнакомых для меня офицеров, которые называют генерал-полковника Людникова Иваном Ильичом. Вскоре я понял, что иначе и нельзя называть этого добродушного и на редкость общительного человека. Да и сам он, вспоминая о своих боевых побратимах, называет их по имени-отчеству. И поскольку имен этих было названо много и произносились они с такой любовью, то сразу же стало понятно, почему выдержал, по-

чему устоял «Остров Людникова», где по всем математическим и иным подсчетам живой человек, казалось бы, устоять не мог.

...Его по-прежнему зовут сержант Павлов, хотя он уже давно не в армии и занимается какими-то сугубо гражданскими, хозяйственными делами. Странное чувство испытываешь, когда сидишь рядом с этим не шибко разговорчивым человеком, скажем, перед телевизором в гостинице «Интурист» и слушаешь, как молоденькая девушка-теледиктор бойко и заученно, словно на уроке истории, рассказывает о подвиге бессмертного гарнизона — дома сержанта Якова Павлова. Для нее, восемнадцатилетней, все это и впрямь хоть и героическая, но далекая история. Как бы она смутилась, как сорвался бы ее звонкий и уверенный голосок, если б вдруг она увидела, что прямо перед ней сидит и смотрит из сумрака чуть затемненного фойе живой, всамделишный, натуральный Яков Павлов! Она щебечет и не ведает о том, что прямо перед ней сидят также какой-то дедушка с тяжелыми усищами и бабушка, повязанная по-крестьянски ситцевым платком, и что это вовсе не дедушка, а гвардии ефрейтор Василий Сергеевич Глущенко, сподвижник Якова Павлова, а бабушка — это жинка Василия Сергеевича. Они не ждали официального приглашения на празднование, а сами собрались да и приехали в Волгоград, потому что в Глущенко, как и в каждом фронтовике, жило, ныло нетерпеливое желание побывать в тех местах, через которые провела его однажды война.

Властное это чувство сняло с насиженных гнезд не одного Василия Глущенко. Тут же, перед телевизором, сидит пулеметчик Дорохов, может быть, в Доме Павлова этому человеку досталось больше всех из того самого солдатского лиха...

Не усидел в своей Амвросиевке на Донбассе и Ни-

колай Петрович Макаренко — бывший наводчик артиллерийского истребительно-противотанкового полка 62-й армии. Он опоздал к главным торжествам. Выручила, однако, солдатская находчивость, как выручала она его не раз в боях за город на Волге. Николай вышел на площадь Павших Борцов, встал у памятника, где накануне был зажжен вечный огонь, встал рядом с часовыми, точно, по-артиллерийски рассчитав, что где-где, а здесь-то он встретит однополчанина. И вот они уже обнимаются с «односумом» Сашей Цыганковым, впрочем, уже не Сашей, а Александром Васильевичем, кандидатом технических наук, да к тому же начальником лаборатории по газу и нефти. Вот тебе и гвардии рядовой Сашка Цыганков!.. Теперь они стали ждать вдвоем, озябли на морозном ветру, крутоватом от остуженной Волги. Согрелись в ресторане, благо он тут рядышком, тот ресторан, и еще более оживленные и взволнованные, перебивая друг друга знакомым всему бывалому люду: «А помнишь?» — принялись вновь терпеливо ждать. И солдатское многотерпение было вознаграждено с лихвой: в полночь поклониться праху павших к памятнику вышли маршалы Чуйков, Руденко, Казаков, генералы Жадов, Родимцев, Вайнруб. Один за другим оказывались они в объятиях дюжих однополчан. Не умевшие плакать в грозную военную пору, сейчас они плакали...

На Мамаев курган я приехал раньше, чем туда прибыли маршалы, генералы, офицеры и солдаты бывших 62-й и 64-й армий. Было пустынно на знаменитом кургане. Только какой-то старичок похаживал взад-вперед, время от времени сбрасывая сосульки с большой своей, не то белой от инея, не то седой бороды. Заметив меня, он быстро приблизился и живо назвал себя:

— Федоров Иван Трофимович. Каменщиком работал на «Красном Октябре». Может, слыхали?



Семьдесят лет мне теперича... Живу недалеко от Мамаева... Старуха, жена моя, послала. Пойди, говорит... Може, кто знает про них...

Дед говорил, а руки его уже шарили за пазухой, искали что-то. Вынул бумажник, извлек две фотографии, все в пятнах, закапанные, видать, материнскими слезами.

— Вот какие орлы... красавцы... Полегли... Может, кто знал их...

И он с мольбою смотрит мне в глаза. Но что я мог сказать ему? Появились машины с героями волжской эпопеи, и старик с необычайным для его лет проворством побежал им навстречу. Я успел узнать только, что одного сына звали Григорием, а другого Куприяном. Где они, не встречали, случаем?..

И все же раньше Ивана Трофимовича к группе героев подоспел Алексей Егорович Лялин — бывший солдат-пулеметчик, сражавшийся за Мамаев курган двадцать лет назад, а сейчас в числе других рабочих сооружавший памятник на этом кургане. Памятник самому себе и своим товарищам, подумали мы. На руке у Лялина не хватает двух пальцев — здесь где-то, в горькой земле древнего кургана, потерял он их, сохранив, однако, добрую хватку настоящего строителя. Вот узнал, обнял, целует генерала Вавилова Михаила Михайловича, бывшего комиссара знаменитой 13-й гвардейской дивизии. Как могло случиться, что солдат узнал? Да очень просто: в ту пору передний край проходил и через солдатские окопы и через командные пункты рот, батальонов, полков, дивизий и даже армий. Может, в самую тяжкую минуту для пулеметчика Лялина пришли очень нужные, спасительные слова комиссара...

И сколько же было таких встреч на Волге в дни 20-летнего юбилея величайшего сражения!

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Осенью 1972 года в мой гостиничный номер шумною ватагой не вошли, а прямо-таки ворвались пионеры — знаменитые (да, да, именно знаменитые!) сталинградские следопыты. Видимо, прознав, что я собираю материалы к новому своему военному роману, они с помощью какого-то незнакомого мне дяди притащили необычную посылку: деревянный, точнее, фанерный ящик был битком набит ржавыми и оттого еще более зловещими, с острыми краями осколками от бомб, снарядов и мин; были там и смятые патроны, и сплюснутые гильзы, и исковерканные стабилизаторы, и прочие атрибуты давно уже отгремевшей войны.

Спрашиваю с удивлением:

— Где вы их набрали, ребята? Спустя тридцать-то лет? Не из музея же?

Ребята улыбнулись:

— Скажете же! Мы сами пополняем тот музей!

— Ну, а все-таки — где?

— А засуха-то в нынешнем году была страшнейшая. И пыльные бури — страсть. Содрали верхний слой земли — вот железяки сызнова и появились...

Этому уж я не удивился, поскольку доподлинно знал, каким густым и многослойным был тут страшный посев войны: уже десятки лет паломники со всего бела света находят тут эти «сувениры» и увозят на память к себе домой, а их, тех «железяк», не убывает. Как же нужно было нашпиговать землю ими!

После некоторого замешательства, не зная, спрашивать об этом ребятишек и девчонок или нет, я все-таки решился:

— Ну, это так. А где вы находите останки павших воинов? Я слышал, что вы и сейчас производите эти скорбные раскопки?

— Как где? — отозвался все тот же малыш, видимо, главный красный следопыт. — В степи, за городом, где трава растет погуще.

Дыхание у меня перехватило. «Вон оно что! — подумалось. — Хоронили-то мы павших не с оркестрами, не с почестями. Упадет солдатик на бегу, а иногда и много их упадет, а времени-то нет. Наспех выберешь яму — воронку ли от бомбы или тяжелого снаряда, обвалившийся ли окоп, блиндаж, там и предашь земле побратимов...»

Сообщив это, ребята и сами делаются строгими, сосредоточенными. А мне еще подумалось: «Нас, ветеранов, становится все меньше и меньше, а участников войны не убывает. Ведь эти тысячи, десятки тысяч юных следопытов, которые совершают свои поиски, они сами становятся как бы участниками боев, мужают, становятся и граждански более зрелыми. Какою же мерою измерить их ежедневный, десятилетиями продолжающийся патриотический подвиг!»

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Я уже сказал, что в каждом солдате живет властное и нетерпеливое желание вновь побывать в тех местах, по которым провела его когда-то война. На этот раз, в конце мая 1982 года, я твердо решил не просто побывать в городе, где завершилась нашим великим триумфом Сталинградская битва, а пройти или хотя бы проехать от Дона до Волги по тем дорогам, по которым сорок лет назад прошла наша 29-я стрелковая дивизия, которая затем стала 72-й гвардейской и которую, ни разу не сменяемую, к концу войны солдаты нарекли Непросыхаемой и Непромокаемой. На этот раз мне удалось исполнить давнишнюю мечту.

Перво-наперво отправился в казачий хутор Нижне-Яблочный, где наша минометная рота получила первое боевое крещение. Увы, хутора не оказалось: над ним величаво разлилось созданное человеком Цимлянское море. К счастью моему, уцелели хутора Верхне-Яблочный, Генераловский, Чиков, через которые дивизия отходила на новые рубежи с жестокими, кровопролитными боями.

Тут я должен сказать, что у каждого защитника волжской твердыни, помимо общего для всех, был еще свой, личный Сталинградский фронт. Тот капилляр сталинградский, который сливался в горячий поток ненависти и любви, бушевавший в крови всех защитников бессмертного города.

Другому, скажем, хуторок Чиков на Аксае мало что скажет, а для меня очень даже многое: там моя рота в течение только одного дня минометными веерами накрыла и уничтожила около сотни вражеских солдат. И там же, у хутора этого, я потерял, может быть, самого близкого на ту пору для меня человека: младшего политрука Ивана Ахтырко, с которым служили в одном полку со дня его формирования. Мы возвращались пополудни из штаба полка в свои подразделения: он — в артиллерийскую батарею, я — в минометную роту. Теперь должен признаться, завидовал тогда Ивану: его должность позволяла ему называться комиссаром, а моя — лишь политруком.

Шли по просеке, когда увидели высоко над нами вражеский истребитель. «Давай укроемся на всякий случай!» — предложил я другу, высматривая какую-нибудь яминку или хотя бы борозду поблизости, что с того дня делал до конца войны. Иван засмеялся: «Будет он за двумя гоняться!» Я все-таки плюхнулся в неглубокий кюветик. Короткая пулеметная строчка не обошла моего беспечного друга.

Долго не мог я покинуть того места вот теперь, спустя сорок лет, все стоял и стоял там, мучая в руках шляпу...

С особенным же душевным волнением приближался к станции Абганерово, где наша дивизия в течение почти двух недель, не почти, а свыше двух недель, то есть с 12 по 30 августа, вела, может быть, самые кровавые в ее боевой биографии бои с прорвавшимся от Котельникова врагом. Там-то и моя рота, до этого не потерявшая ни единого бойца, хоронила своих первых товарищей. И неглубокая балка, в которой находились огневые позиции роты, была целью моего одинокого паломничества к Абганерово, к совхозу Юркина. Я боялся, что не успею найти: приближались сумерки. Однако ж нашел, а выйдя из балки, увидел такого же одинокого, как я, и уже совсем седого, сухого в кости высокого человека. Приблизясь ко мне, он сказал:

— Увидал вас и вот пришел. Думал, может, помогу в чем. Воевали, чай, тут?

— Воевал.

— Ну, я так и подумал. А вы знаете, как местные жители называют это поле?

— Откуда ж мне знать?

— Белым, потому как оно сплошь было усеяно костями человеческими. Мне и самому в сорок седьмом пришлось собирать те кости и складывать в братскую могилу. Видали, может, обелиск там стоит?

У обелиска этого я потом долго стоял и среди множества имен, выбитых на граните, находил и знакомые имена.

А после этого я вновь, в который уж раз, ехал на свидание с яблонькой, под которой находился мой блиндаж во время завершающих боев за Сталинград.

Совсем недавно сталинградский поэт Л. Кривошеенко и композитор А. Климов сочинили про яблоньку песню. В ней есть такие строчки:

Кто знал суровых лет ровесницу,
Кто слышал шум ее ветвей,
Тот думал, что осталось деревцу
Стоять в степи не много дней...

А она стоит. Стоит сорок лет. Глядишь, простоит и все сто. Низкий поклон, дикая степная дочь, тебе и твоим вечно юным побегам! Удивляюсь и радуюсь твоему бессмертию, которое сродни великому солдатскому подвигу, совершенному тут сорок лет назад!

1983 г.

СОДЕРЖАНИЕ

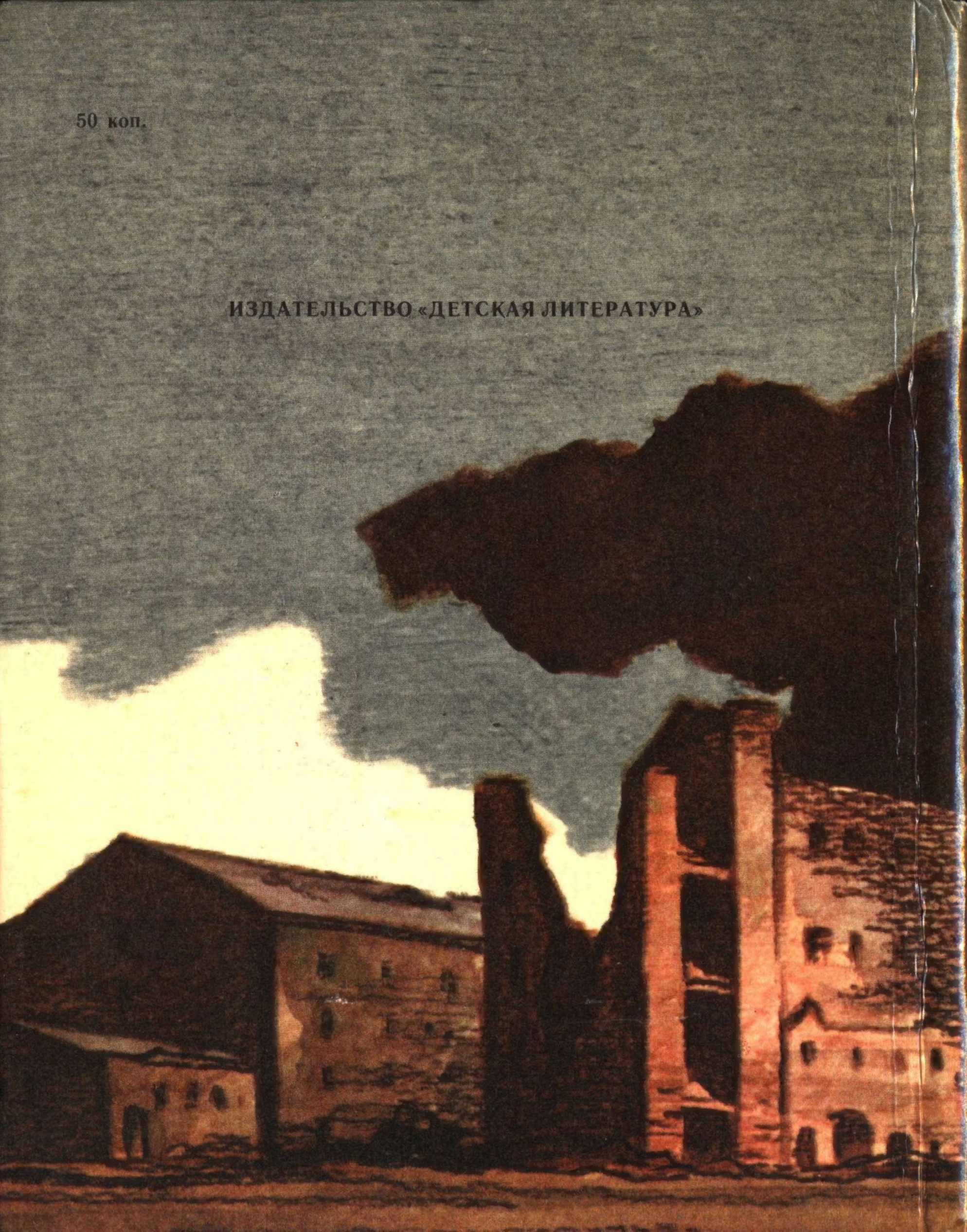
Для среднего и старшего возраста

Михаил Николаевич Алексеев

ТЕТРАДЬ, НАЧАТАЯ ПОД СТАЛИНГРАДОМ

ИБ № 7971

Ответственный редактор **И. Ф. Скороходова.** Художественный редактор **Б. А. Дехтерев.** Технический редактор **С. Г. Маркович.** Корректоры **В. В. Борисова** и **Л. И. Дмитрюк.** Сдано в набор 02.09.85. Подписано к печати 25.12.85. А 14684. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$. Бум. офсетная № 1. Шрифт академический. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 17,5. Уч.-изд. л. 7,56. Тираж 100 000 экз. Заказ № 880. Цена 50 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193036, Ленинград, 2-я Советская, 7.


50 коп.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

